

НИКОЛАЙ ВАГНЕР

СКАЗКИ

КОТА-МУРЛЫКИ

(СБОРНИК)

Николай Вагнер
Сказки Кота-Мурлыки (сборник)

«Public Domain»

1872

Вагнер Н. П.

Сказки Кота-Мурлыки (сборник) / Н. П. Вагнер — «Public Domain», 1872

«Сказки Кота-Мурлыки» были написаны под влиянием «Полного собрания сказок» Г.-Х. Андерсена, изданного в середине 60-х годов и имевшего шумный успех в России. Вагнер вспоминал, что посчитал многие сказки Андерсена слабыми и задался вопросом, сможет ли он написать так же или лучше. Сказки Вагнера многое сближает с андерсеновскими произведениями: сюжетные переклички, отражение просветительской веры в приоритет разума, философский и дидактический подтекст, сентиментально-религиозные мотивы.

Содержание

Предисловие	5
Кто был Кот-Мурлыка?	6
Гулли	8
I	8
II	9
III	11
IV	12
VI	15
VII	16
Два Ивана	17
Люций Комоло	22
I	22
II	23
III	24
IV	25
V	26
VI	27
Песенка земли	29
Великое	31
Новый год	37
I	37
II	39
III	41
IV	44
Руф и Руфина	46
I	46
II	48
III	49
Сказка	50
Чудный мальчик	57
Старый горшок	63
Конец ознакомительного фрагмента.	65

Николай Петрович Вагнер

Сказки Кота-Мурлыки (сборник)

Предисловие

Николай Петрович Вагнер – зоолог и писатель (1829—1907). Окончил Казанский университет. Получив степень магистра, а затем и доктора, он работал в Казани и Санкт-Петербурге профессором зоологии. В его работе «Самопроизвольное размножение гусениц у насекомых» (Казань, 1862) впервые в науке был установлен факт педогенеза (paedogenesis): ученый открыл, что личинки одного двукрылого насекомого из группы Cecidomyidae размножаются, развивая внутри тела новые такие же личинки. В 1869 г. за свои труды Вагнер получил от парижской академии авторитетную премию Бордена. Ученый регулярно занимался зоологическими исследованиями; в 1881 г. его стараниями в Соловецком монастыре была организована зоологическая станция. В 1876-78 годах он издавал журнал «Свет», в котором поместил ряд собственных научно-популярных очерков. В этом журнале, между прочим, были напечатаны и первые стихотворения С.Я. Надсона, талант которого Вагнер сразу оценил.

Беллетристические произведения Вагнера печатались в различных русских журналах. Наибольший успех имели «Сказки Кота-Мурлыки». Они были проникнуты стремлением направить ум и чувство маленького читателя к подвигу и добру. Недостатком сказок современники считали отсутствие полутонов и избыток сентиментальности, «романтическое фразёрство» и т. п. Следует отметить, что это были сказки скорее для взрослых, чем для детей.

Особняком стоят позднейшие беллетристические произведения Вагнера: роман «Темный путь» и повесть «Мирра». Здесь Вагнер изменил прежним гуманистическим воззрениям и поддался влиянию антисемитизма. Впоследствии все беллетристические произведения Вагнера были изданы в 7 тт. под общим названием «Повести, сказки и рассказы Кота-Мурлыки» (СПб., 1890-99). Вышли также отдельным изданием научно-популярные очерки Вагнера «Картины из жизни животных» (СПб., 1901). Немало времени и труда Н.П. Вагнер посвятил изучению бессознательной психической деятельности человека и спиритических явлений. В результате он стал Президентом Русского общества экспериментальной психологии.

Трудно поверить, что бывают на свете люди, которые впервые прочли сказки Андерсена в сорок лет. Но именно так, в сорокалетнем возрасте, раскрыл однажды книгу великого датчанина Николай Петрович Вагнер. Сказки ему, в общем-то, понравились, однако он подумал, что сам мог бы написать не хуже, а то и лучше. Определённый опыт публикаций учёный-энтомолог Вагнер уже имел. Что касается мировоззренческих исканий, то здесь произошла эволюция от вдохновенного христианства к атеизму, а затем от атеизма к спиритизму.

Вот такой человек и принялся состязаться с Андерсеном. За три года он написал дюжину историй, которые составили знаменитое издание «Сказок Кота-Мурлыки». Несмотря на упрёки некоторых современников, приключения феи Фантасты и т. д. пользовались у современников Вагнера бурной полярностью. Насколько это читабельно по нынешним временам – решать вам. Заметим только, что начиная с 90-х годов XX века «Кот-Мурлыка» был переиздан уже неоднократно.

Кто был Кот-Мурлыка? (предисловие к первому изданию)

*Жил Мурлыка, был Мурлыка,
Кот сибирский...*
В.А. Жуковский

Издавая сказки Кота-Мурлыки, необходимо сказать хоть несколько слов об их авторе. Это был старый и весьма почтенный Кот, но, к сожалению, полный всяких противоречий. Он был стар и постоянно напевал одну и ту же песню:

Nicht Alles was Alles ist gut!..

Таким образом, он никак не мог сделаться ни антикварием, ни архивариусом, хотя бы в каком-нибудь комиссариатском архиве и существовали самые жирные крысы.

Он был, бесспорно, почтенный Кот, но всегда вооружался против всякого почтения, называя его китайской церемонией.

Он любил науку и терпеть не мог ученых. Любил искусство и ненавидел искусников: в особенности таких, которые всю свою жизнь пели фальшивые ноты.

Одним словом, это был очень оригинальный Кот, хотя всякую оригинальность не любил и преследовал: во-первых, уже потому, что никак не мог отличить оригинального от модного, а – главное, потому, что все оригинальное, по его мнению, заслоняет от нас все обыкновенное, простое, что мы должны изучать или что требует нашей помощи.

Бедный Кот был немного помешан. У него была одна *idée fixe*, от которой не могли освободить его все европейские и американские эскулапы.

– Я, – говорил он, – родился на свет вниз головой, и с тех пор все на свете мне кажется вверх ногами.

– Наверху стоят сильные и прекрасные золотые тельцы, перед которыми многие преклоняются или по крайней мере скачут и пляшут на задних лапках, а мне кажется, что наверху стоят те самые маленькие червячки, которые весь день-деньской роются в земле из-за насущного хлеба, и стоят потому, что первые должны же быть когда-нибудь последними.

– Наверху стоит человеколюбивое братство и отдает своему ближнему последнюю собственную рубашку, а мне кажется, что наверху стоит именно та самая собственная рубашка, которая ближе к телу, чем всякая другая.

– Наверху стоит столб прогресса, с рукой, указующей, куда идти людям, а мне кажется, что этот столб давно лежит на боку, а на нем лежат люди, твердя в умилении сердец: *chi va piano, va sano!*

– Наверху стоит светильник мира, потому что никто не ставит его под стол, а мне кажется, что он именно стоит под тем столом, за которым пирует добрая богиня Глупость и ворожит всем, кому хорошо живется на свете.

– Наверху стоит истина, вечно влекущая на свободу сознанный факта, а мне кажется, что наверху курятся те самые старые курильницы, которые стоят там со времен древних авгуров, а внизу... Но внизу нельзя ничего разобрать за облаками одуряющего дыма...

– Ах! скоро ли же мне представится, что люди ходят вверх головами и не болтают ногами по воздуху?..

И бедный Кот усиленно махал хвостом, желая отогнать от себя неотвязную *idée fixe*. Но это средство, разумеется, не помогло, и он принимался мурлыкать бесконечные песни и сказки. Его окружали и слушали дети, среди которых его старому сердцу было тепло и уютно.

Но и тут он не знал покоя. И тут к нему приставали разные «крючкотворцы», которые разбирали каждую его мысль, каждое слово.

– Что это ты сентиментальничаешь, – говорил один крючкотвор. – Разве идут эти нежности к твоим седым усам?

– Поди выдуби свою кожу, – говорил Кот, – и сердце также, если тебе покажется это лучше. Я тебе не мешаю.

– Что это ты сам себе противоречишь? – говорил другой крючкотвор.

– Только одна палка не знает противоречий, – ворчал Кот, – я не хочу быть палкой.

– А зачем ты рассказываешь детским языком не детские сказки? – спрашивает третий крючкотвор. Разве могут понимать тебя дети!

Но тут Кот терял всякое терпенье. Он вскакивал и с яростью накидывался на всех крючкотворов:

– Да вы кто?! – кричал он. – Разве вы сами не дети в общем росте того ребенка, которого зовут человечеством, ребенка с уродливой, тяжелой головой, которая постоянно перевешивает его вниз?

– Оно, ваше великое человечество, прожило столько веков, и до сих пор не знает, который ему год?

– До сих пор оно не может освободиться от старых пеленок или помочей, на которых его водят...

– Оно до сих пор гоняется за красивыми бабочками или за блуждающими огоньками, которые вспыхивают над каждым болотом.

– Каждую минуту оно готово драться, царапаться до крови, за каждый клочок дрянной земли, за всякую пустую погремушку.

– Оно хвастает своим знанием и до сих пор не может прочесть одного слова: «Человечность», первого всемирного слова, которому учил его более восемнадцати веков тому назад Великий Учитель...

– Подите же вы прочь с вашими вопросами. Подите и поучитесь у этих малых из малых, на которых вы смотрите с фарисейской снисходительностью. В их сердцах сама природа, простая, прямая, великая. Они старше вас целым поколением, выше вас целой головой, потому что в этой голове уже сложились те пути, до которых добивались ваши отцы и дети, и все-таки не добились!..

Что ж!.. Может быть, сумасшедший Кот и был прав, – хоть немножко?.. А впрочем, предоставимте лучше решить этот вопрос нашим детям.

Гулли

I

Взглянешь на небо, там солнце царит и владеет. Взглянешь на землю... Здесь опять солнце, и некуда от него скрыться. Даже в тени, возле моря, туда оно проникает своим удуш-ливым жаром.

Но под этим солнцем, среди этого жара, трудятся люди, и весь сад кипит работой. Сад большой, фруктовый. Люди носят большие корзины, полные персиков и абрикосов, яблок и груш и всякого винограду. Тут есть и черный, и розовый, и зеленый, и мускат, и изабелла. Все приносят на верхнюю террасу, где сидит сама владелица сада и громадного имения, сама баронесса фон Дрепанкуль-Ильстром.

Подле нее стоит Гулли, татарочка-сиротка, воспитанница баронессы. Смотрит Гулли на всю эту суетню своими большими черными, как черные сливы, глазами – смотрит и думает: зачем это трудятся люди, зачем им столько плодов и яблок, и груш, и персиков, и слив, и абрикосов, и винограду?

Она вспоминает, что на этих днях она посадила горчичное маленькое зернышко в землю. Посадила его в самой середине цветника и верит, крепко верит, что из этого зернышка вырастет большое дерево – и как же не верить ей, когда сама баронесса читала ей из святой великой книги, как один человек взял и посеял горчичное зерно на поле своем.

«Это зерно, – сказано в книге, – хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его». И Гулли крепко верит, что это зерно горчичное взойдет и вырастет и будет больше всех злаковых и станет деревом – но укроются ли в нем птицы небесные?.. Вот вопрос!

Два дня уже лежит зерно горчичное в земле. Завтра, завтра оно должно непременно взойти маленьким зелененьким росточком.

Несколько раз на дню Гулли пойдет посмотреть то место, где она посадила зерно, место, которое она отметила маленьким крестом, сложенным из двух прутиков.

Она придет к этому месту и утром рано на восходе солнца, и днем, и даже поздно вече-ром.

Завтра оно должно непременно взойти. В это крепко, крепко верит Гулли.

II

С вечера она долго молилась. Она не могла молиться иначе, как со слезами, потому что молитва ее обращалась прямо к доброму Иисусу, которого она любит так сильно и горячо. Каждый раз, как она подумает о Нем, ее сердце забьется так радостно и она чувствует, что Он уже стоит подле нее, с Его ласковыми, добрыми голубыми глазами. И на ее собственных больших черных глазах невольно навертываются слезы.

– Господи! – шепчет она, – сделай так, чтобы все были добрые и любили бы Тебя, доброго, и любили бы друг друга. – И она твердо верит, что когда-нибудь да это будет – непременно будет.

Когда она легла в свою постельку, то на дворе и в саду была уже теплая южная ночь – и яркий месяц высоко стоял в темно-фиолетовом небе и еще ярче горели и дрожали яркие звезды, отражаясь в море.

Она заснула с твердой надеждой, что завтра вместе с восходом солнца она увидит всход маленького горчичного зерна. Она не знала, как долго она спала и что ее разбудило, но она вдруг проснулась и села на постельку.

Неизвестно почему ей представилось, что теперь, именно теперь показался из земли первый маленький зеленый росток горчичного зерна. Сердце у ней забилося так радостно, трепетно – и она невольно быстро поднялась с постели.

– Я пойду, – думала она, – взгляну на него одним глазком и опять лягу.

Ночь была душная, через большое окно ярко светил месяц и всюду разливал свой зеленоватый, таинственный свет.

– Что за нужда, что я раздета, в одной рубашке, – думает Гулли. – Теперь ночь, меня никто не видит. Я пойду, побегу, взгляну – и быстро, быстро опять прибегу и лягу.

И она, сама не зная как, уже стоит на окне. Окно открыто, но оно высоко. Под ним внизу темнеют кусты олеандров и гольдений.

– Что же? – думает Гулли, – я спущусь прямо по воздуху. – Надо только захотеть сильно, сильно и можно спуститься.

И она, сама не зная как, но так легко, неслышно спустилась по воздуху и очутилась перед самым цветником.

Но что же делается вокруг ее маленького крестика из прутьев? – Она смотрит и не верит глазам.

Там словно все освещено, но не светом месяца, а ярким, электрическим светом, и среди этого света носятся волны светлого сияющего тумана.

В них что-то быстро снует, мелькает, копошится. Гулли усиленно, пристально вглядывается в этот туман и видит, что весь он полон светлыми сияющими фигурками, личиками девочек и мальчиков. – О! сколько их в этом тумане. Даже в глазах рябит. И около чего они хлопочут так усердно?

Гулли вглядывается и видит, что из черной земли, сильно освещенной ярким светом, из этой земли поднимается первый, зеленый, сочный росток. О! как он детски свеж и полон сочной жизни! Как все хлопочут около него, вьются, шепчут, ласкают, целуют его. И все тихо-тихо говорят друг другу:

– Это росток горчичного зерна, росток Божьего дерева! И отчего все эти светлые, чудные, хорошенькие мальчики и девочки, которые так мило, грациозно вьются и порхают, что-то несут, несут без конца, что-то тяжелое, круглое.

– Ба! Да это яблоки, груши, абрикосы, персики и много, много всякого винограду.

– Это изобилие! Изобилие! – шепчут они. И все эти плоды под их светлыми ручками расплетаются, заплетаются в такие чудные гирлянды – все они падают на землю и исчезают!

Гулли не может налюбоваться на эту дивную игру. Перед ней мелькают, как бабочки, с легкими крыльями, сверкают, блещут опалами, яхонтами, бриллиантами все эти воздушные, чудные, неведомые гости.

Но что это? Маленький росток горчичного зерна уже вытянулся незаметно перед ее глазами в толстый зеленый ствол. О! как много в нем могучей жизни!

III

Но кто-то шепчет около Гулли:

– Оглянись!

Она быстро оглядывается кругом. Вокруг светлого тумана все как-то странно изменяет форму... Идут какие-то таинственные невиданные превращения.

Гулли вглядывается. Множество ростков поднимается со всех сторон. Но эти ростки превращаются в каких-то прозрачных зеленых пауков или в голубых нарядных раков с малиновыми крапинками. Черви, простые безобразные земляные черви становятся такими нарядными, красивыми гусеницами, а из этих гусениц выпархивают чудные блестящие бабочки и кружатся, кружатся вместе со всеми светлыми, блестящими, крохотными созданиями вокруг чудного зеленого ствола горчичного дерева. А оно растет, растет быстро, но незаметно. Оно уже высоко поднялось над землей, и его верхушка вся покрылась целым лесом ветвей, целой тучей листьев.

Какое-то белое, светлое облако покрывает его вершину. Гулли всматривается, всматривается в это блестящее облако. Но оно уже не облако, а чудная роскошная женщина. Она сидит на вершине дерева, окруженная ее густой непроницаемой листвой, которая растянулась на многие, многие версты, и кругом этой чудной женщины лежат целые груды всяких плодов: груш, яблок, абрикосов, апельсинов, персиков и винограду, винограду без конца. И от всей вершины всюду идут светлые, блестящие, сияющие лучи.

– Изобилие! Изобилие! Изобилие! – шепчут легкие, маленькие, крылатые создания и выются, порхают, мелькают вокруг дерева.

Женщина медленно, плавно поднимает, протягивает руку и тихо произносит одно слово, одно только слово:

– Довольство!

Но от этого слова Гулли быстро, широко открывает глаза и... просыпается.

IV

На дворе давно уже день-деньской. Солнце спряталось за мелкими тучами. Как будто дождик собирается. Но в воздухе душно. Может быть, будет гроза. Гулли едва могла дожидаться, чтобы все встали, и побежала в сад к цветнику. Около крестика из земли вышел крохотный желтоватый росток с двумя листиками. Это был росток горчичного зерна, росток Божьего дерева.

– Господи! – думает Гулли, – какой он был толстый во сне! Отчего же наяву не бывает так, как во сне? И каким сильным деревом он поднимался от земли?! А сколько было всяких плодов!..

И Гулли вспоминает ту красивую женщину, которая сидела на этом дереве, и вспоминает то слово, от которого она проснулась...

– Довольство! – думает она. – Изобилие дает довольство – и все вырастает из земли – все развивается из земли: изобилие – довольство! Это сила, которая набирается из земли. Маленький росток превращается в дерево, и если бы собрать все плоды со всех деревьев, которые их приносят, то какая вышла бы громадная, большущая гора всех этих плодов! Изобилие – довольство!

И Гулли почти не отходит от цветника. Она все думает, мечтает, что выйдет из этого маленького ростка. О, она вполне уверена, что он будет большим, большим деревом, в ветвях которого будут укрываться птицы небесные.

И целый день она ходит озабоченная, задумчивая. А день разгулялся и опять сделался жарким. И всем как будто праздник, большой праздник. Все так довольны, веселы, бегают, смеются, и все едят яблоки, груши, пекут айву, щелкают грецкие орехи. – Изобилие! Довольство!

И все птицы и звери земные тоже чему-то радуются. Громадные стрекозы прыгают и стрекочут повсюду. Саранча залетает в окна. Птицы кричат, порхают, гоняются друг за другом. И отовсюду, из садов, виноградников, со всех деревьев слышится несмолкаемый, оглушительный треск цикад. В ушах звенит от их крика, от всей этой возни, трескотни и шума, и гама.

Гулли самой весело. Ей хочется бегать взапуски, вперегонки, хочется летать вместе с задорными птицами. Но где же взять крыльев?! Целый день она бегаёт по жару, по солнцу. Выбежит на берег; там море шумит и сияет, а над ним роятся чайки и бакланы. И целые стаи черных дельфинов прыгают, играют, кувыркаются в зеленоватой, прозрачной, блестящей воде.

Гулли бегаёт по камням, по дорожкам, и все ее тянет к ростку – не сделался ли он толще? Не превратился ли в дерево?

Вечером она устала. Глаза слипаются! Она зевает. Лениво молится и с таким наслаждением бросается в постельку.

Сон накрывает ей глаза. И снова перед Гулли стоит высокое Божье дерево. Она смотрит кругом. Снова в прозрачном блестящем тумане что-то волнуется, кружится, мелькает, снова меняется, превращается, но теперь все куда-то стремится с криком радости и улетает. Вот у какой-то козявки вдруг выросли крылья; она расправила их и улетела. Вон бабочки легкие, нарядные – все из серебра и перламутра. – Ах, как они летают, точно бешеные. Даже голова кружится от их полета.

Но Гулли не чувствует, что она сама летает. Она несется дальше от этого постоянного круженья к блестящему морю. Но и на море тоже круженье и блеск, и трепет, и рокот свободного моря. Всюду праздник!

Вот рыбы – морские, нарядные, пестрые, золотистые рыбы. Они выскакивают из воды, взлетают на воздух и улетают на легких крыльях. Вот на каменистый, скалистый берег выползают из моря странные гады с зазубристыми хвостами. Драконы это или невиданные какие-

то дива морские. Они спешат, торопятся – у них вырастают крылья на спине, и они тоже поднимаются на воздух и улетают. Вон и летучие мыши, и летучие белки, и птицы, птицы... Ах, сколько птиц! Все они точно бешеные снуют по всем направлениям.

У Гулли рябит в глазах, звенит в ушах... Она готова лишиться чувств, но она довольна. Она тоже порхает. Для нее тоже какой-то праздник. Она не знает какой, но все равно. Ветерок так ласково дышит, свежий морской ветерок. Везде ароматный праздничный воздух и так приятно летать, летать, носиться в этом воздухе.

И Гулли носится не одна, с ней вместе порхают и птицы, и бабочки, и эти нарядные, крохотные, маленькие создания. Они порхают на легких, прозрачных крыльях. Они схватывают Гулли за руки и несутся вместе с ней. Они кружатся, порхают повсюду и снова прилетают к Божьему дереву.

– Это наше родное дерево – шепчут они. – Божье, горчичное дерево. Оно выросло из земли и уносится в небо. Горький труд несет изобилие, – изобилие дает довольство, из довольства является свобода.

И Гулли чувствует, как легко, свободно бьется ее маленькое сердце, как все оно переполнено радостью. Она носится, летает на крыльях свободы. Она летает над морем, над громадным, широким морем, сердце замирает, а воздух тихо ей шепчет:

– Свобода! свобода! свобода!

Солнце уже стояло высоко, когда она проснулась. Голова ее переполнена сном. Сердце замирает и трепещет. Ей кажется, что еще над ушами ее кто-то шепчет тихо все одно и то же слово: свобода! свобода! свобода!

– Но что же мы будем делать на свободе? – думает Гулли. – Летать, порхать! Но куда же? И ей становится скучно при одной мысли, что она должна вечно порхать и летать.

– Что не встаешь, дорогой мой, черноглазый. Все уже чай отпили давно, только ты спишь, – говорит ей ее толстая, дорогая няня.

– Что же сегодня заспался, мой Гулёк, – говорит сама баронесса, и входит в детскую, и смотрит на заспанные глаза Гулли. – Вставай, мой Гулёнок. – И она щупает ей пульс и смотрит, не горяча ли у ней голова, и так нежно целует ее.

– Муттерхен, – говорит Гулли (она знает, что баронесса любит, когда она зовет ее муттерхен. Ведь у баронессы нет никого: ни детей, ни внучек. Всех она давно схоронила, и только и есть у ней одна она названная дочка, татарочка Гулли). – Муттерхен, – говорит она, – мне снятся все странные сны... А что мой росток Божьего дерева? Муттерхен, ты не видала его, моя милая...

– Нет, не видала. Вставай, одевайся скорее и иди сама.

И Гулли бойко одевается, умывается и бежит – бежит к ростку Божьего дерева.

– Ну! как он вдруг вырос большим стволом...

Но на пути ей попадается веселая Груша.

– Ах! Гулен – встала... Милая моя! – и целует ее.

Но только что Гулли высвободилась и бежит в сад, как перед ней встает добрая хохотушка Соня.

– Ах! барышня, барышня дорогая моя. Дай поцелую ясные глазыньки.

И много, много их целой толпой окружают Гулли, и для всех она милая, дорогая, ясная, ненаглядная.

– И за что они все меня так любят? – думает Гулли и бежит, опрометью бежит к ростку.

Он поднялся, значительно поднялся со вчерашнего дня. Но уввы! Это был всход зеленой маленькой травки, а никак не большого дерева.

Гулли уселась прямо на землю и смотрит на этот всход, и она верит, крепко верит, что он разрастется большим, большим деревом.

А за ней уже бегут целой толпой, гурьбой – и Даша, и Глаша, и Саша, и Соня, и Дуня, и все кричат:

– Барышня, чай кушать! Барышня, дорогая, чай простыл!..

Солнце спряталось за тучки. Серенький туманный денек; но такой теплый, ласковый. Нет шума, крика, как вчера, но Гулли кажется, что все травки так сильно любят птичек, а птички и бабочки так нежно, любовно ластятся к нарядным цветам. И цветы от радости и любви так нежно, любовно пахнут. И аромат их носится во всем воздухе. Все напоено их чудным сладким запахом.

– Муттерхен, – говорит Гулли баронессе, – ведь все и цветы, и кусты, и бабочки, и птички любят друг друга, и все радуются жизни, потому что жизнь и есть благо.

– Да, – говорит баронесса. – Только злые и недовольные не любят жизни. Только для них она тяжела и неприятна.

Целый день бродит Гулли тихая и радостная. И за что она ни возьмется – все у ней валится из рук. Так бы все она сидела и слушала тихую любовную песню целой природы.

VI

И с этой тихой песней в душе она провела весь день и вечером так сладко молилась Богу и так мирно, тихо уснула. И во сне ее встретила та же тихая, любовная песня.

Все ее мысли кружатся около Божьего дерева, и она снова носится над ним, носится, порхает над его вершиной, которая высоко-высоко над землей и ушла в небо. И все легкие порхающие созданыя, все мальчики и девочки также носятся вместе с ней. Господи! сколько их в ветвях самого дерева! Они смеются и прячутся в его листьях, густых и зеленых. Вон, вон сколько их! и какая громадная вершина! Конца нет. – Все это блаженные, небесные, Божьи птицы и все они укрываются в ветвях Божьего дерева.

И вся вершина освещена каким-то дивным прекрасным, ласковым светом. О! с какою любовью греет и нежит этот свет, и как дороги были Гулли все эти Божьи небесные птицы. Сердце трепещет и сладко бьется, и кажется Гулли, что нигде на земле, в целом мире нет ничего, ничего выше этого чувства, нет блаженнее любви ко всем и к этому дивному свету.

О! она теперь знает, что такое это горчичное зерно – это желанное Божье дерево. Труд дает довольство, довольство создает свободу. Но нет ничего в целом мире выше, желанней любви, потому что в ней и свет, и жизнь, и свобода, и довольство жизнью и светом.

О! как она любит всех этих чудных мальчиков и девочек! Она не знает, как их зовут, но все равно – они такие милые, добрые, – такие дорогие, любящие птички небесные.

– Гулли, – говорят они, – мы все и вместе с тобой выросли из одного Божьего дерева, из одного горчичного зерна. Везде сеется слабое, а вырастает сильное, сеется презренное, вырастает славное. – И они целуют, ласкают ее, и сердцу Гулли так сладко, так легко, с такой полнотой и наслаждением оно бьется и трепещет. И кажется ей, что целый век она пробыла бы с этим чувством и никогда-никогда не пожелала бы ничего другого.

И вдруг все эти созданыица вылезли из листьев, из ветвей Божьего дерева, все встали кругами, кругами. И кажется Гулли, что этим кругам нет ни счета, ни конца. И все они из всех кругов общим хором запели чудную песню, и эта песня была сама любовь. Как из громадного органа неслась она то замирая, то снова поднимаясь, как великая волна.

Гулли, вся трепещущая, радостная смотрела наверх – туда, где ярко горел и освещал всех чудный ласковый свет. И ей казалось, что и песнь, и свет, и любовь – все одно и то же, и чем торжественней, нежней звучала песнь, тем ярче, сильнее сиял чудный свет. И еще казалось Гулли, что вся она превратилась в любящую певучую струнку, и вся душа ее трепетала и нежилась в общем согласном хоре, который пел славу свету, свободе, любви!.. Она пела и не чувствовала, как из ее глаз катились, катились крупные слезы. Она понимала, что источник их был в самом ее любящем, восторженном сердце.

И чувствует она, что вся проникается светом и этот свет так томительно сладко обхватывает ее всю. На него больно смотреть глазам, отяжелевшим от сна. Она силится открыть их... и наконец раскрывает.

Ее всю окружает свет радостного светлого утра, а песнь звучит, звучит в ее ушах. Она звучит под окном в саду, и видит Гулли, что опять все работают, трудятся – все разбирают ягоды и груши, и все поют так радостно, согласно. Это – песнь труда, песнь довольства. Но когда же она будет песней свободы и любви!..

VII

С тех пор прошло много лет. Муттерхен совсем состарилась. Гулли выросла, и всю свою короткую молодую жизнь она вспоминала то, что видела во сне, когда она была маленькой девочкой, – то, что ей снилось в памятные три летние ночи ее детской жизни. Она уже не верила, что горчичное семечко может вырасти в большое дерево, но она верила, она была убеждена, что Божье дерево растет, развивается и что в вершине его укрываются божьи небесные птицы.

Вся жизнь ее, недолгая жизнь была полна тоски и ожидания. Что бы она ни делала и где бы ни была, вдруг ей почудится, что где-то вдалеке зазвучит родная песнь этих небесных птиц, к которым она стремилась так жадно, которых любила так крепко, и все встрепенется в ней, сердце забьется, затрепещет и тотчас сожмется с такой грустью, и на глазах выступят слезки.

И здесь на земле томилась она,
Желанием чудным полна.

Она любила труд и трудилась настолько, насколько ей позволяла ее добрая муттерхен, которая больше собственной жизни берегла жизнь ее милой Гулли. Она жила в довольстве, роскоши и всем была недовольна, и все, что было у ней, с радостью отдавала бедным. Она любила музыку. Но музыка наводила на нее неисходную тоску.

И звуков небес заменить не могли
Ей скучные песни земли.

Бледная, скучная, худая, она постоянно томилась, и к пятнадцатой весне ее тихой жизни захирела и умерла.

Муттерхен похоронила ее и осталась одна, совсем одна, без детей, без внучек и без своей дорогой милой Гулли!..

Два Ивана

Жило-было два Ивана, два родных брата. Старший брат был совсем умник. Младший Иван был совсем дурак, так что все соседи говорили: «Ну, брат! видно у тебя в голове-то слепая баба помелом вымела, да песочком посыпала!»

Впрочем, все соседи любили Ивашку. «Он дурашный да покладистый! – говорили они, – положишь – лежит, поставишь – стоит». И, правду сказать, был наш Ивашка покладистый. Добреюшая душа: всем со всяким делится, всякому поможет. Только не всякий пойдет к нему за помощью, потому что, известное дело, заставь дурака Богу молиться – он лоб прошибет.

Казалось бы, такому дураку с голоду надо помереть или по миру побираться, а у него все шло так, что загляденье: изба новая, крепкая; две лошадки здоровых породистых; своя коровушка, двадцать голов овецек... Одним словом, живет Ивашка, как заправский мужик. Только вот жены Бог не дал. Женился-было Ивашка, да жена его бросила: больно уж глуп был. Так он и жил – не то парень, не то вдовец.

– Что это Ивашке за счастье, – дивятся соседи, – лошадь у него каждый год жеребится, корова каждый год телится, овцы нанесут ему ягнят! Горох ли засеет, – горох выйдет такой крупный да ядреный. Репу ли посадит – просто, репа взрозь лезет. У соседей неурожай, у Ивашки нет неурожая. Точно на его ниву полосой дождь идет, углом солнце светит. Видно, правду пословица говорит: «Не родись богат, а родись удачлив».

Совсем другая история с другим Иваном, с умным. Такого умного пойти да поискать – наверно, не найдешь. Каких только он штук и хитростей не придумает. Были у него на полях мочежинки, – все осушил: понаделал канавок и отвел воду. Чем только он не удобрял поля?! Весной, когда снег сходит, он всякую дрянь со двора тащит на поле: старый лапоть, тряпицу, дохлую кошку, крапиву, что по пустырям росла, словом, все, что попадет. В огороде сад развел; на капустных грядках желтофиоли рассадил, да махровые розы. На пчельнике у него разъемные ульи, складные; на крыше у него мельница вертится, для домашнего обихода муку мелет. В хлеве у него холмогорская корова по два ведра в день доит; да сорок штук мериносов шпанских, да свиньи чухонские!.. Только все у него не в прок идет. Посадит ли он пшеницу-белотурку, глядь, ее градом побьет. Разведет ли гусей голландских – все гуси переколеют. То морозом гречу положит, то червь хлеб подточит, то дождем сено сгноит. Со всех сторон беды да напасти. Нет ни в чем ему ни счастья, ни удачи.

И вот завел он кур шпанских. Отличные были куры, черные, белобородые, а петух – так просто загляденье, точно конь вороной: хвост словно генеральский султан, а гребень так и пышет, как платок кумачный... И что ж?! Всех этих кур в одну ночь лиса передала. Осталась только одна, маленькая да юркая.

– Постой! – думает Иван, – я тебя, проклятая кума, изловлю; я с тебя сдеру шкуру твою поганую барыне на шубку! И вот смастерил он крепкий капкан и поставил подле лазейки. В ту же ночь попалась кумушка, да еще какая лиса-то – пушистая, чернобурая, краснолапая.

– А, разбойница, добыл я тебя! – радуется Иван. – Рубля два, чай, дадут за твою шкуру, а может быть и больше. А тушку я отдам Кудлашке. – А Кудлашка визжит, лает и радуется, что ей тушка достанется.

Дерет с кумушки шкуру Иван. а сам песню поет. Только приходит и Иван-дурак, глядит и дивуется, какую это брат такую лису достал.

– Братай милый, – говорит, – подари мне тушку.

– На что, – говорит, – тебе?

– Да так, – говорит, – больно она мила мне.

– Есть, что ли, ее станешь? Ее, дурак, не едят люди, а Кудлашка съест.

– Подари, братай, пожалуйста. Я Кудлашке мясца дам.

– На, возьми! – И подарил Иван дураку тушку.

Схватил дурак тушку и унес к себе.

На другой день собрался Иван-умный в город, на рынок. Повезу, думает, продам шкуру, а на два рубля опять кур куплю.

Выехал он со двора, глядь, а Ивашка дурашный за ним катит, лисью тушку везет.

– Куда ты, дурашный?

– А я, братец, тушку продавать; хорошая тушка: коль за шкуру деньги дают, так за тушку и подавно.

– Ах ты, дурак, дурак! – хохочет над ним братай, потешается. – Ты бы еще крысых тушек набрал, авось, такой же дурак и купил бы.

– Крысья тушка, братай, поганая, ее грешно есть. А это, ишь ты какая!.. Мы с тобой в ней скуса не знаем, а बारे все едят.

Приехали братья, вышли на базар, ходят, продают.

– Лисью тушку, братцы, эй, лисью тушку, народ честной, – кричал Иван-дурак, и хохочет над ним народ честной.

Только в ту пору заболей царевна тяжкою немочью. а главный лекарь прописал ей лекарство мудренное: «Надо, говорит, поймать лису чернобурую, да не собаками, а капканом, и у той лисы вынуть сердце и печенку, с наговором, да запечь ту печенку и сердце в пресном пироге и дать царевне съесть рано на заре, с молитвою и приговором, – и всю болезнь как рукой снимет».

И вот принялись искать чернобурую лису. Ищут, ищут по лесам, по горам, да видно, в недобрый час: где ее найдешь, да еще капканом возьмешь. Главный ловчий совсем голову потерял, ибо объявлен ему царский приказ: «Коли в два дня лису не представит, так быть ему самому в капкане, в петле глухой, что на перекладине качается». Разослал он всех доезжачих: «Ищите, дескать, лису, а то быть мне без головы». И вот рыщут, ищут. Один доезжачий и на базар пошел, а на базаре Иван дурашный орет на все горло:

– Лисья тушка, по тушку, по тушку лисы чернобурой!

Уцепился за него доезжачий обеими руками:

– Что просишь за тушку?

– Пятьдесят рублевиков, да пять алтын на чай.

– Ах ты дурак!.. Это за лисью тушку-то; протри глаза-то, проснись. Что ты, разве есть ее будешь?

– Нет, я, друг, ее не ем, а твое здоровье на нее, верно, ластится. Коли тебе бы она была не надобна, ты бы не торговал, а я не просил бы пятьдесят рублей. Нечего делать, повели Ивашку к главному ловчому: «Вот, дескать, пятьдесят рублей просит да пять алтын на чай». А главный ловчий: «Давайте, давайте, кричит, царская казна все заплатит».

И вот отсчитали Ивану-дураку пятьдесят рубликов, да пять алтын на чай, да легонького подзатыльника вдогонку: «вот, дескать, дурак, проси впредь, да с оглядкой!»

А Иван-умный целый день проходил со шкуркой; к вечеру наконец напал на купца, дал он ему за лису рубль с гривной, да и то на пятак обсчитал.

– Вот, – говорит Иван-дурак брату, – я говорил, братай, что बारे и лису едят...

– Молчи, дурак, – говорит братай, – да Бога благодари за твое дурацкое счастье.

Вот к концу лета стал Иван-умный мед ломать. Наломал он его из своих разборных ульев гибель, наложил он его в кадки, разобрал как следует и приготовился в город продавать везти. Только приходит к нему Ивашка-дурашный и дивуется, сколько братай меду наломал; а братай на это лето последнюю колоду в разъемный улей перегнал и свалил он эту колоду подле омшаника; а колода большущая, старая-престарая, трухлявая, гнилая, вся так и сыплется.

– Ах, братай, – говорит Иван-дурак, – отдай ты мне эту колоду, пожалуйста, отдай.

– На что тебе, дурашный, колоду. Ведь она гнилье, в огне не горит, врозь ползет, как прах сыплется. – И пнул он ногой колоду так, что она крякнула.

– Ничего, братай, мне пригодится! отдай, пожалуйста!

– Возьми, – говорит, – мне она даром не нужна.

И вот собрался Иван-умный мед продавать везти. Глядь, а за ним Иван-дурак едет и колоду везет, рогожей ее покрыл. Запряг своего бурко, – а бурко, лошадь здоровенная, – и насили он эту колоду прет.

– Куда ты это, дурашный?

– А я, братай, колоду продавать; колода большущая, может, кому-нибудь и спонадобится.

– Ах ты, дурак, дурак!.. Лошадь-то только ты, дурень, измучаешь. Родятся же на свете такие олухи!

Приехали братья на базар, а в тот год, как нарочно, на мед урожай приключился. Целый базар медом завален. По рублю за пуд дают, да и то за первый сорт.

Ходит по базару купчина-брюхан, старый-престарый, седой-расседой, а с ним приказчик, парень степенный. Подходят они к Ивану-дураку.

– Что, добрый человек, продаешь?

А добрый человек вытаращил свои большущие дурацкие глаза и рот открыл, дивуется на брюхана-купца!

– А я, – говорит, – гляжу на тя, да дивуюсь, ровно ты моя колода!.. – И показал он купцу колоду. – Это, говорит, мне братай подарил, я и продаю.

– Ах ты, дурень, дурень!.. да и брат-то твой дурак: как это можно колоду продавать, все пчелы изведутся...

А сам купчина думает: «Семка, возьму я у него колоду – вот счастье-то мне привалит. Он же этакой дурашный, должно быть блажной». И глаза у купчины разгорелись.

– А что, – говорит, – друг, за колоду просишь?

– Да сто рублей!

– Ха! ха! ха!.. Ах ты, дурак! Да вся ей цена полтина без гривны!..

Прикрыл опять дурак колоду рогожей и шапкой потрянул, отвернулся от купца.

– Мы, дескать, знаем цену; нас не надуешь.

Отвернулся от него купчина, пошел по базару, а сам все на колоду зарится. «Экой дурень, – думает. – А была бы та колода мне очень способна. Чай в первый же год она бы дала вод пчелам. А то воду им нет, все неурожай да неурожай...»

Подходит опять купец к Ивану-дураку.

– Ну что, – говорит, – друг, надумался ли; а я тебе, так и быть, за колоду-то дам рубль да еще поднесу тебе на купле.

Молчит Иван-дурак, только знай, что за обе щеки каравай уминает.

– Сто рублей! – говорит. – Коли тебе колода способна, то сто рублей не жалея: на счастье купишь.

Ничего не сказал купец, отвернулся и пошел.

– Что, – спрашивает он приказчика, – купить нам на счастье колоду-то или нет?..

– Отчего не купить? – гудит приказчик. Известно, счастье да удача от Бога; ну, однако, стары люди говорят, что и хорошая колода из чужой пасеки счастье приносит, а эта не из простой пасеки, – у его брата, слышишь, пчелам вод хороший.

Повернулся опять купец, подошел к Ивану.

– Ну, – говорит, – облюбилась мне колода, да и ты хороший человек – даю тебе десять рублей. Тащи ко мне колоду.

Молчит Иван-дурак, только знай каравай уписывает.

– Давай, – говорит, – сто рублей, – а то полтора ста запрошу!

– Ах ты, дурак, дурак! – вскинулся на него купчина. – Да ты очнись, дурашник ты, бестолочь чухонская: ведь ты за простую колоду экую цену ломишь, ведь я только так, для счастья, по нраву моему хочу купить ее!

– А коли для счастья, по нраву своему хочешь купить, так ты, милый человек, ста рублей не жалея. Пожалеешь сто рублей, тысячу потеряешь. Вот что!

Делать нечего... Распоясался купчина, отсчитал Иван-дураку сто рублей, да не просто, а с наговором: уж он честил, честил его на все корки, инда до тошноты.

– Да ты умеешь ли, дурень, считать-то? – говорит.

– Об этом не хлопочи, – говорит, – милый человек, отлично сосчитаю.

И подлинно, считать был горазд Иван-дурак. А с другим братом другая история: в силу к вечеру продал он мед за двадцать рублей, да и то наполовину в долг.

Едет он домой, думу думает: отчего ему во всем неудача; а Иван-дурак за ним катит, и сто рублей в кошеле брянчат.

– Вот, – говорит, – братай, колоду-то ты мне подарил, – спонадобилась она: за сто рублей купцу сбыл!

Посмотрел на него братай...

– Плюнул бы, – говорит, – на тебя, дурака, да плевать жалко.

Проходит год или два, и слух прошел по земле: говорят, царь свою волю объявляет, вызывает досужих людей, кто во что горазд, чтобы показали царю свое досужество.

И точно, едут глашатаи по всей земле, царский указ объявляют: «Сведомо нам, гласит указ, что в земле есть досужие люди, кои всякие художества измышляют. Занятно нам о том ведать, дабы не одна штука, к чему ли способная, не могла даром сгнать. В силу сего объявляем о том воеводам и губным старостам, дабы они тех досужих людей к нам препровождали, того ради для, дабы сии люди нам свой талант показали. А для сего назначаем через три года Юрьев день, в него же будет большой сбор со всей земли и будет наше царское смотрение!»

И вот прослушали царскую волю Иван-умный и Ивашка-дурашный. Задумался Иван-умный.

«Что же, – думает, – недаром мне Бог ум дал. Подумаю, авось что-нибудь и надумаю». Думал он два года, на третий придумал. Смастерил он машину большую, хитрую, прехитрую: сама веет, сама мелет, сама выгребает. Дивуется весь народ на эту машину и говорит, что в ней нечистый сидит и всем делом заправляет.

Настал наконец Юрьев день, царское смотрение. Собрались со всех сторон досужие люди, весь царский двор битком набили. На высоком крыльце сидят все бояре да думные дьяки, а вокруг них стоит почетная стража.

И вот загудели бубны и литавры, выходит царь на смотрение, а глашатаи кричат, вызывают:

– Эй, добрые люди, придите, покажите, кто во что горазд.

И стали выходить добрые люди, всякий свою сноровку и умение показывает. Кто идет с новым гудком, кто с новой балалайкой, кто с сапогами немецкими, что носки врозь выворочены. Кто просто с пирогами, что жена напекла, да впрок засушила. Но больше всего идет народ честной со всякими машинами да инструментами. И было тут столько этих машин, что Иванова машина исчезла в них как капля в море, точно ее и не бывало.

Только как кончилось смотрение, кто-то сзади кричит:

– Эй, люди, расступитесь, я еще свое досужество покажу!

И люди расступились. Идет Иван-дурак, и все на него дивуются, что за пугало такое движется. И подлинно: вырядился он хуже пугала воронья. Все, что было у него в сундуке платья, все на себя наверх; была шубка заячья, и ту надел, да не просто, а шерстью вверх: «Вот, дескать, коли царю занятно мое досужество посмотреть, так я все ему покажу: на, мол, царская милость, смотри!» И несет Иван-дурак в руках не разберешь что: взял он жердь, согнул ее в дугу, стянул ее жилой, толстой и звонкой, а к дуге прицепил-подвесил сковороды, заслонки, колокола, ширкунцы, бубенчики.

Подошел Иван-дурак к царю, поклонился. Отставил одну ножку вперед, оперся на жердь, да как дернет за струну, – батюшки мои!

– Дз! бум, динь, динь, бум, бум! – такой звон пошел, что все собрание покатилося со смеху; даже сам царь засмеялся.

– Этакого досужества, – говорит, – мы еще не видали! Из какой ты волости, добрый человек?

– Волости я не ведаю, а зовут меня Ивашка-дурашный, – и опять как дернет за струну! – Бзз, бум, динь, динь!.. – такой опять звон пошел.

– Вот, дескать, – говорит, – царская милость, мое старание – любо тебе или нет?!

– Любо, любо! – говорит царь.

– А честный ты человек, или нет? – спрашивает царь.

– Честный, честный, – говорит народ честной.

– То-то и есть... лучше быть дураком да честным, чем умным да мошенником.

И посмотрел тут царь на многих, и многие при этом глаза потупили.

– А хочешь ли ты, – спрашивает опять царь, подумав немного, – хочешь ли ты, честный человек, быть моим казначеем?..

– Как не хотеть, вестимо, хочу, – говорит Ивашка, и поклонился царю в ноги.

– А умеешь ли ты считать?

– О! считать-то он горазд, всякого плута обочтет!.. – кричит народ честной.

И взял царь Ивашку-дурака к себе в казначеи.

А умный Иван поехал с смотренья ни с чем. Едет он и злится-злится:

– Я, – говорит, – подожду, подожду, пока народ честной узнает, что за штука за такая счастье да удача, да пока дуракам счастья на свете не будет!

Ну, и ждет он до сих пор, все еще не дождался!

Люций Комоло (*восточное предание*)

I

В древних землях, на границе Азии и Европы, жил-был, в оно время, в одном городке мудрец Люций Комоло. Он был не очень стар годами, но очень мудр, и народ считал его магом.

И действительно, Люций узнал многое таинственное и наконец дошел до таких странных понятий, что дух, существующий в каждом человеке, сильнее во сто крат его хрупкого, брениго тела.

Дойдя до этого знания, он старался применять его к разным случаям жизни и прежде всего пользовался им как средством излечения.

– Дух наш, – говорил он, – сам должен лечить наше тело. Мы только должны стараться дать ему больше простора и освободить его, насколько возможно, от влияния нашего тела.

И он лечил хромоногих, слепых, сухоруких и всяких больных и недужных. С раннего утра вокруг его дома собирались целые толпы народа. Люций Комоло прикладывал к больным руки, и больные исцелялись. Исцелялись преимущественно те, которые верили в возможность исцеления.

Были и такие, которые верили в эту силу, но говорили, что эта сила бесовская и что в ней нет святости.

Другие говорили: что вам за дело – свята она или нет? Только бы помогала и лечила.

Но все эти другие сильно боялись бесов и уходили дальше от лечения Люция Комоло.

Слава о лечении Люция шла по всему свету, и с дальних сторон приходили странники или приезжали богачи на лошадях, осликах и верблюдах, даже на буйволах и зебрах, так как Люций Комоло жил как раз в том месте, где Азия связывается с Европой и Африкой. Это был общий узел, соединявший три больших материка.

Но Люций Комоло не остановился на лечении – он хотел доставить людям всякие удобства и наслаждения.

– Если дух излечивает тело, – говорил он, – то он должен и поднимать его. Если тело сильней духа, то оно должно держать его постоянно привязанным к земле, а если дух сильнее тела, то он должен отрывать его от земли, поднимать и носить по воздуху.

Дойдя до этой мысли, он стал испытывать силу своего духа, и для того, чтобы этой силе было больше простора, чтобы она не была связана телом, он стал истощать, обессиловать это тело. Он спал очень мало и съедал в день только несколько зерен риса, запивая их чистой водой. По целым дням и ночам он стоял на большом камне, взобравшись на его вершину.

Проходили недели и месяцы. Тело его таяло, как тает зажженная свеча чистого, ярого воска. Он думал, что он наконец поднимется в воздух и сольется с ним всецело и нераздельно. Он не знал, поднимется ли он на воздух или нет, но он верил, крепко верил, что он полетит по воздуху, как летают птицы.

II

Слух об излечениях, которые производил Люций, дошел наконец до ассурского монарха Арамиза.

У этого могущественного и богатого царя была дочь Гамата – девушка 15 лет, болевшая чуть не с самого ее рождения болезнью, которую не могли вылечить никакие доктора, маги и чародеи.

И царь послал к Люцию целый караван под начальством своего любимого полководца Анизана. – Мертвого или живого, – наказал он Анизану, – но ты должен привести ко мне этого мудрого мага. – И Анизан отправился.

Посланные нашли Люция в глухом лесу стоящим неподвижно, как статуя, на камне и простиравшим руки и глаза к небу. Стали звать его, но он не слышал зову. Он весь был погружен в созерцание неба и был как бы мертв.

Тогда начальник каравана сказал бывшим с ним:

– Влезьте на камень и спустите мудреца на землю.

Они влезли на камень, сняли с него Люция и бережно снесли его и положили на землю; а начальник каравана громко и величественно сказал ему:

– Меня прислал за тобой ассурский царь – Арамиз, и ты должен сейчас же отправиться вместе с нами, ибо дочь его – царевна Гамата – опасно больна.

Но Люций ничего не мог ответить ему. Он лежал, как мертвый, и глаза его были закрыты.

– А! – сказал Анизан, – ты не слушаешься своего повелителя. Ей! Вылейте же на него целый ушат воды из холодного ключа.

Тотчас же стражники принялись исполнять приказание начальника. Они принесли воды из горного, как лед, холодного ключа и вылили эту воду на Люция. Но на него не попала ни одна капля, а вся вода разбрызгалась во все стороны и измочила тех, которые выливали ее на Люция; а он продолжал лежать, как мертвый, с закрытыми глазами.

– А! – сказал Анизан, рассерженный тем, что не может заставить Люция проснуться. – Вода на тебя не действует, так мы попробуем огонь.

И он велел разжечь железную полосу и приложить к пяткам Люция.

Тотчас же разложили тут же костер, накалили, разожгли докрасна железную полосу и начали прикладывать ее то к той, то к другой пятке Люция. Но каждый, кто брался за это дело, тотчас же чувствовал в собственных пятках нестерпимую боль, жжение, как будто к ним прикладывали накаленное железо.

Анизан совсем вышел из себя.

– Вы все только притворяетесь и морочите меня! – вскричал он. – Смотрите сюда!

– И он схватил раскаленную полосу и приложил ее к пятке Люция, но в ту же секунду страшно закричал и отбросил полосу.

Тогда один, уже седой стражник их каравана сказал:

– О! Могучий повелитель, зачем мы напрасно будем мучить себя. Посидим в молчании некоторое время, и он, наверное, очнется; будем все желать, чтобы он проснулся.

Анизан и все бывшие с ним послушались этого совета; уселись в кружок около Люция и стали молча ожидать пробуждения, и все желали, чтобы он пробудился.

Прошло полчаса, и Люций действительно проснулся, приподнялся, открыл глаза и, сидя, изумленно смотрел на всех присутствующих...

III

Когда ему объяснили, зачем послан к нему караван, то он, нимало не колеблясь, молча собрался и отправился с караваном к царю ассурскому Арамизу.

Царь тотчас же велел привести к нему Люция и сказал:

– Вот у меня дочь больна. Она с малолетства испорчена. Вылечи ее, и я дам тебе то, чего ты хочешь.

– О! Государь, – сказал Люций, – я ничего не хочу иметь, а чего я хотел бы иметь, ты не можешь мне дать.

Арамиз изумился.

– Чего же ты хочешь и чего я не могу тебе дать? – спросил он. – У меня много золота и драгоценных камней. Хочешь ли, я тебе отдам одну из богатейших моих провинций...

– А можешь ли ты мне дать простор и свободу? – спросил Люций.

Арамиз изумился еще сильнее.

– Какой же тебе нужен простор? – спросил он.

– Простор пространства и всего существующего.

Но Арамиз все еще не понимал, чего хочет мудрый мудрец, и смотрел на него с недоумением.

– О великий монарх! – сказал Люций. – Твои посланные нашли меня стоящим на камне, за великим подвигом. Я понял, что дух, обитающий в человеке, стеснен и связан его земным телом. Мы все прикованы к земле и к земным утехам. Чем меньше в нас будет желать и действовать тело, тем сильнее и свободнее будет наш дух. Я истощал, обессиливал тело, но до сих пор еще не дошел до того состояния, когда дух мой поднимет мое тело и будет носить его по воздуху, и мне будет отрадно. Я мечтал и о том, чтобы передать то, что я узнал, всем людям, моим братьям. Я мечтал, что можно будет наконец слиться со всем окружающим, с воздухом и светом... И вот на этой трудной задаче застали меня твои посланники... Когда я буду подниматься на воздух, то передо мной будут уменьшаться все поля, леса и горы – все представится мне мелким и ничтожным, и наконец сама земля представится мне в виде громадного шара, висящего в воздухе. Мой дух вознесет меня выше всего самого высокого на земле. Вот почему все земное мне представляется мелким, ничтожным, суетным и бренным.

– Ты ошибаешься, – сказал резко царь Арамиз. – Есть вещи на земле, которые драгоценны для сердца человеческого, и я теперь жажду, чтобы ты скорее возвратил драгоценное здоровье моей прекрасной дочери, царевне Гамате, которую я так люблю... Иди к ней. – И он указал ему на дверь.

И все придворные повели его к царевне Гамате.

IV

Она лежала на мягких, пушистых шкурах юл-барсов и лисиц. В ее комнате, с низкими сводами, было сильно накурено разными благовонными куреньями и было нестерпимо душно.

Бледная, исхудалая царевна мучилась злым недугом, который истощал ее силы.

Маленькая комната была полна ее прислужницами.

Люций велел всем оставить комнату, а двум стражам стоять у дверей и никого не впускать. Потом он подошел к ложу, на котором лежала царевна, и спросил ее:

– Веришь ли ты, царевна, в силу духа духов и в силу собственного духа? Если ты веришь, то мне будет нетрудно исцелить тебя. Если же не веришь, то мой собственный дух прежде всего должен побороть твое неверие.

– Я верю! – сказала Гамата.

Тогда Люций у ее ложа опустился на колени на шкуру нубийского льва и громким голосом, воздев руки кверху, начал читать такую молитву:

– О дух великий! Дух высший и вечный. Дух всех миров. Дух неба и земли! Дух, обитающий в небесных пространствах и в недрах земных. Дух, живущий в недостижимых глубинах вселенной и в сердцах всех людей; дух, владеющий делами, волей и всеми помышлениями людей. К тебе прибегает всякая плоть, созданная тобою; к тебе обращаются мудрые и простые. К тебе стремится всякое дыхание, ибо в тебе начало и конец жизни, всего существующего и сущего в пределах земных и небесных. В тебе источник всякой жизни и блага. Оком милостивым, благим и премудрым взгляни на создание твое и исправь всю правду твою, ибо все исшедшее из тебя справедливо и верно. Темная сила и неразумие наше темнит свет твоей справедливости и покрывает пороками, бедами, несчастиями бессильную жизнь человека. Да привлечет милость твою вид страдающей юницы. Дух всех духов! сострадающий к страждущему, да умилосердится глубина твоя и исправит поврежденное...

И в то время, когда Люций воссылал к Духу духов это моление, неизведанная и непостижимая сила веры творила ее дело. Гамата приподнялась на ее ложе. Что-то сильное и крепкое проникло и разлилось по всему ее телу. Жар обхватил ее сердце, и крепость утвердила все ее члены. Сама не своя, как бы во сне, она встала с ложа, поднялась, шатаясь, сделала несколько шагов и пала на колени подле Люция.

– О! Дух духов! – говорила она, вместе с Люцием подняв дрожащие руки и стремясь и душой и сердцем к Тому, кого призывала... И слезы неудержимо лились из ее глаз.

Люций быстро поднялся с колен и, обернувшись к Гамате, все еще стоявшей на коленях, положил обе руки на ее голову.

– Да хранит тебя, – сказал он, – благодетель всего живущего, всего доброго и любящего. Да отринет Он от тебя всякое зло и беды, всякое горе и несчастье. Гамата со слезами на глазах слушала это благословение. Ее сердце трепетало и наполнялось чувством, которое тянуло ее неодолимо куда-то вдаль, ввысь – к небу и звездам...

V

По дворцу Ассура быстро разнеслась весть, что царица Гамата выздоровела. Все дивились ее быстрому выздоровлению. Все спешили поздравить ее – и все обратились с просьбой к Люцию, чтобы он вылечил их больных. Но Люций сказал, что излечивающая больных сила не в его власти, чем все просившие опечалились, а многие даже разгневались.

– Вот! – говорили они, – дочь царя, так он мог вылечить, а наших больных не хочет.

А царь Арамиз снова обратился к нему с предложением награды за излечение его дочери.

– Проси, – говорил он, – чего хочешь, ибо я все могу дать тебе.

И снова Люций сказал ему:

– Дай мне простора и свободу. В твоём дворце я связан. Мне нет нигде покоя. Одни кланяются и лебезят передо мной, другие смотрят на меня с завистью и готовы растерзать меня. Пусти меня в мою пустыню, а быть во дворце я не могу.

– Хочешь, я дам тебе богатую землю на правом берегу Ходжасана. Там ты построишь себе хороший дом-дворец и будешь жить в покое и довольстве. Тебе будут служить множество слуг. Я подарю тебе десять красивых невольниц и три больших золотых блюда.

– О государь! – сказал Люций. – Все земные богатства и утехи для меня ничтожны.

Я бегу от людей, бегу от мира. У меня одна надежда впереди – унести из этого мира на невидимых крыльях моего духа.

Сурово посмотрел на него Арамиз и подумал: «Это просто безумный».

И ему было крайне неприятно, что этот убогий мудрец отверг его богатое предложение.

Между тем тучи собирались над головой Люция.

Придворные врачи нападали на лечение Люция. Они все единогласно заявили Арамизу, что болезнь Гаматы неизлечима, а теперь какой-то чужеземец вдруг вылечил ее неизвестными им приемами, и они все кричали о нем, как об ужасном шарлатане. К ним присоединились жрецы. Они почуяли гибель в учении, которое проповедовал Люций.

– Как! – говорили они, – мы молимся нашим богам, а он проповедует какую-то ересь и молится какому-то Духу духов.

И они нашептывали Арамизу, что такое непочтение к богам может навлечь гнев их на все царство.

– И соберутся все окружающие его соседи, – говорили они, – и пойдут все войной на нас, и все жители царства должны будут погибнуть.

Арамиз испугался. Он посадил Люция в высокую башню и приставил крепкий караул к той комнате темницы, в которой он жил.

А в народе шли волнения, поддерживаемые жрецами.

Одни говорили: сила Люция нисходит с неба, потому что он излечивает больных, слепых и хромых.

А другие говорили: нет, он излечивает силой бесовской.

И составилась большой заговор, чтобы его убить. Заговор шел от придворных и поддерживался жрецами.

Одни говорили, что Люций может летать по воздуху, а такая сила дается только с неба.

Другие говорили, что его носят невидимые бесы и что он летает с помощью бесовской силы. Но никто не видал, как он летает.

Около той башни, в которой он был заключен, постоянно толпился народ. Одни смотрели на маленькое окно его темницы, как на окно, из которого исходит святая, врачующая сила. Другие громко кричали, что его надо убить, казнить, уничтожить.

VI

Так прошло более месяца. Местами вспыхивали частые волнения. Одни говорили, что он, Люций, святой, другие ругали его имя.

Много раз ему в его пищу или питье тайно вливали яд, но он ничего не пил и не ел, и по целым дням и ночам, когда умолкали крики вокруг его башни и наступала ночная тишина, он молился не переставая Духу духов.

Пошел другой месяц. К Люцию привыкли – и ждали.

И всего больше волновалась, любя его, царевна Гамата.

Раз в глухую, темную ночь она, накрывшись фатой, отправилась в башню, где содержался Люций, в сопровождении одной из прислужниц. Оба стража были усыплены сонным зельем. Прислужница несла ключи от темницы Люция. Она отперла тяжелые двери, а Гамата вошла в крохотную комнату, в которой томился и молился Люций.

Когда Гамата вошла, то Люций поднялся с колен и низко поклонился ей, а Гамата упала на колена и поклонилась ему до земли.

– Святой мой и сильный силою духовною!.. – сказала она. – Научи, как мне спасти тебя. Стража твоя спит... Двери твоей темницы открыты... Иди на свободу... За оградой ждут тебя добрые кони и верный проводник... До света вы будете уже за гранью царства Ассура...

Но Люций покачал головой.

– Нет, царевна, – сказал он. – Это будет злое дело... Я спасусь, а погибнут те, которым повелено сторожить меня... Мы судим по нашим мелким, ограниченным понятиям о воле великого духа, и судим неверно и несправедливо. Если премудрый дух судил мне погибнуть, то я должен погибнуть...

Но Гамата, увлекая его за собой, так как она была гораздо сильнее его, вскричала:

– Идем! Идем! Желанный мой!.. Человек только тогда рассуждает правильно, когда ничто его не стесняет... Когда он рассуждает на свободе, а не в темнице.

Они спускались медленно, осторожно. Она увлекла его из душевной каморки башни и начала опускаться по высоким и изломанным каменным ступеням.

И чем ниже спускались они, тем яснее и яснее разливался свет утра, так как солнце уже восходило и заря обхватила восток. А снизу доносились до них грозные крики. Народ уже толпился вокруг башни.

– А!?! Вот он! – редела толпа. – Вот он!.. Чего же еще надо?! Улики налицо... Он хотел бежать... Он хотел увезти царскую дочь Гамату...

И толпа окружила и схватила их.

– Ты видишь... – прошептал Люций, – какова воля великого духа!

А толпа волновалась... сверкали мечи и кинжалы. Подстрекали жрецы и все злые люди...

Они схватили Люция и Гамату и повлекли снова наверх, на самый верх башни, а в той башне было без малого 300 локтей вышины.

– Мы сбросим их с башни, – кричала толпа. – Он умеет, говорят, летать по воздуху. Пусть полетит с изменницей Гаматой, обманувшей ее отца. Пусть оба летят.

И они с криком и гамом влекли их выше и выше... Но в этой суматохе никто не заметил, как вдруг исчезла Гамата. Ее труп нашли на другой день у подножия башни.

«Люди, – думал Люций, когда толпа влекла его на казнь. – Я любил вас... я желал вам добра... больше... О! Гораздо больше, чем самому себе... Но да свершится воля великого Духа духов...»

Его привели на верхнюю платформу башни. Сильный ветер ревел и рвал со всех одежды.

– Бросай его!.. – кричала толпа. – Бросай, мы увидим, как он полетит.

Все бросились к парпету, толкая и тесня друг друга.

– Ну! – кричали одни. – Полетай теперь... Бесы тебе помогут. – И они раскачали его и бросили за парапет.

Но сила духа поддержала его тело и подняла его. Несколько секунд он оставался, вися неподвижно в воздухе. Затем медленно безостановочно начал подниматься с протянутыми кверху руками...

Взошло солнце и осветило эту сцену.

Все бывшие на башне как бы окаменели. Одни упали на колени, другие простирали к небу руки и били себя в грудь. Третьи обратились к жрецам, которые стояли тут же в белых одеждах. Они схватили их и с диким хохотом бросали с башни.

А Люций тихо, медленно, торжественно поднимался, – солнце освещало его фигуру, которая казалась в темно-синем небе маленькой, светлой звездочкой. Она как бы таяла, таяла в небе и наконец совсем исчезла из глаз...

Песенка земли

Солнце так сильно греет. От земли идет пар. Куда летит он выше и выше? Вон, смотри, ведь это он стал облачком белым, блестящим, и облачко уходит в глубину, тает в голубом небе. Оно совсем улетело далеко... Может быть, опять вернется.

А какая славная травка! Маленькая, чистая, зеленая, только всего три дня. Назад тому три дня везде была голая земля, но она вскормила, вспоила зерно. Она напоила все корешки всех травок, кустов, деревьев, вспоила их чистой водой из снега, из теплого весеннего дождика, и все пошло расти, зеленеть – травка, кусты, деревья.

А птицы?! Посмотри, сколько прилетело больших птиц и маленьких птичек. Вот ходят по пашне грачи с белыми носами. Они кричат карр... карр... и роются в черной земле. Вот летит и щебечет ласточка, хорошенькая ласточка. Она прилетела к нам из далеких земель, из заморских стран. Везде по кустам и лугам налетело множество веселых маленьких птичек, зеленых чижей и желтых овсянок, красногрудых чечеток и пестрых скворцов. Ах, как все они свистят, пищат, чирикают! И все веселы, все радуются и порхают на солнце.

А там вон, высоко, высоко из самой синей глубины синего неба летят к нам журавли и звонко курлычут. А там, уж неизвестно откуда, как будто от самого солнца, несутся звонкие, веселые песни и трели.

Вон, посмотри, из домика вывели маленькую, хорошенькую девочку. Бедная девочка больная! Ее за руку ведет няня, ее прежняя кормилица, а подле нее идет мама. И садят маленькую девочку на теплый ковер, на лужайку.

– Мама, – говорит она, – как хорошо здесь мне, на чистом воздухе, под теплым солнышком. Как все здесь весело! Светлые облачка плывут в голубом небе. Везде такая отличная, бархатная зеленая травка и белые цветы. Ах! не рви их, милая мама. Они так весело смотрят на солнце и солнце на них. А сколько маленьких птичек! И как они все поют и щебечут! Милые птички! Но отчего это, скажи мне, милая мама, отчего я слышу, как будто отовсюду, и с неба, и с лугов, и с цветов, кто-то поет чудную песню?

И в моей больной груди так сильно раздается эта прекрасная песня.

– Это земля, – говорит мама, – это земля поет свою песенку!

И девочка наклоняется к земле и слушает, а маленькое сердце у ней бьется в груди. И слышит девочка, как говорит ей земля:

– Ты моя! маленькая хорошенькая девочка, ты моя! Я вскормила, вспоила тебя. Я дала твоей кормилице и трав, и кореньев, и хлеба, и мяса, и всяких плодов. Все, что она ела, все я дала ей, и все она отдала тебе в своем молоке. Я всех кормлю, когда солнце меня греет. И мне так тепло, так хорошо под теплым солнышком. Ты моя! маленькая, хорошенькая девочка!

Крепко задумалась девочка над тем, что сказала ей земля. Долго думала девочка. Наконец мама говорит ей:

– Пойдем в комнаты, тебе нельзя быть долго на воздухе: он вреден тебе – этот весенний воздух.

И увели маленькую девочку.

А дни шли за днями и становились все длиннее и длиннее. Только что смеркнется и не погаснет еще вечерняя зорька, а с другой стороны неба занимается уже новая зорька, и снова всходит красное солнышко.

И жарче, и ярче светит и греет оно, светлое солнце. Вся земля точно принарядилась и убралась зеленью и цветами.

Маленькая девочка как будто совсем выздоровела. Она бегает веселая, розовая по лугам и рощам. Она слушает, как громко поют соловьи и кукуют кукушки. Сколько всяких цветов

цветет по полям и лугам! И высокая рожь качает свои колосья, точно кланяется маленькой девочке.

Великое

Жил-был маленький мальчик, принц Гайдар, сын великого царя Аргелана, и этот маленький принц непременно хотел быть большим.

Он жил в большом дворце, в высоких комнатах, но ему казались они низкими. «Почему, – думал он, – комнаты строят только до потолка? Их нужно было бы строить выше потолка. Прямо до неба».

Когда за обедом или ужином подавали большую рыбу, то он думал: «Почему же она большая?! Если бы она не уместилась в эту залу, то она действительно была бы большая... Вот кит! Его скорей можно назвать большой рыбой, хотя кит вовсе не рыба... Он плавает в большом море-океане!»

Когда его возили по морю и говорили ему: «Видишь, какое оно большое, его берегов не видно», – то он думал: «Да. Оно кажется вам большим потому, что его берегов не видно. А если бы они были видны, то и море было бы для вас небольшое».

Когда он бывал на высоких горах, то смотрел на небо и все думал: «Ах! можно бы было их сделать еще выше... выше... выше – до самого неба».

Наконец, хотя не скоро, его желание исполнилось: он сделался большим; он вырос выше всех людей, которых он знал, но и этого ему было мало.

– Что же, – говорили ему, – ты хочешь быть великаном и показывать себя за деньги?

– Да, – говорил он, – я хотел бы быть великаном, но не таким, как вы думаете. Я вижу звезды, и мне хочется дорасти до них, чтобы они были перед моими глазами... и не только эти звезды, но и все другие солнца, чтобы они светили мне в глаза и от этого света я сделался бы таким большим, что меня нельзя было бы смерить никакой мерой. Понимаете ли вы? Я боюсь всяких мер, весов и стадий, и вот почему я желал бы вырасти настолько, чтобы они не могли меня нигде достать и... смерить.

Когда исполнилось ему совершеннолетие, то отец его, царь Аргелан, сказал ему:

– Ну, Гайдар, теперь ты большой, и надо тебе выбрать невесту. Возьми свиту и ступай в царство Коромандельское, к царю Баджрахану. У него дочь, царевна Гудана, – красавица. И пошел Гайдар со свитой в царство Коромандельское.

Увидел Гайдар Гудану и изумился. Такой красавицы он еще никогда не видывал.

И стал Гайдар разбирать и судить: где и в чем у Гуданы красота сидит? Думал, думал, ничего не решил. Пришел он к Гудане, встал перед ней на колени и говорит ей:

– Царевна прекрасная!.. Я без ума от твоего дивного образа, и думаю я: чем этот образ мне нравится? Глаза твои небольшие, но если бы они были больше, если бы они были громадные, то они были бы уродливы и безобразны. И лоб, и нос, и рот твой – все небольшое, но все мне нравится; и больше всего мне нравится взгляд твой открытый, глубокий и ласковый. Царевна Гудана! Красавица из всех красавиц! Если бы ты согласилась выйти за меня замуж, то я был бы без меры счастлив.

– Царевич Гайдар! – отвечает ему Гудана, – без меры может быть только великое. И тебе лишь кажется, что ты можешь быть счастлив без меры. Если же ты действительно хочешь быть счастливым, то узнай, что такое есть «великое», и тогда приходи ко мне и будешь женихом моим. Иди, ходи по свету белому! Ищи великого, ибо к нему постоянно стремилось и стремится сердце твое.

И пошел царевич Гайдар, пошел один, без свиты своей, пошел искать по всему свету «великого».

«Великое, – думал он, – скрыто в истине. Кто познал ее, тот познал великое, и сердце его не мучится, не трепещет, не боится ничего, а радуется».

И пошел он к мудрецам земным. Их же много по белу свету рассеяно, и все они ищут истину. Исходил он много всяких мер земных, исходил много всяких земель. И видел, и говорил со всякими мудрецами, но не могли мудрецы указать ему великое. Говорили они о мирадах миров небесных, о беспредельности всего мироздания, всей вселенной, но в этой беспредельности он видел только предел земной мудрости и не нашел он в ней «великого»...

Один раз идет он по дороге, которая ведет в небольшую деревушку, и видит: стоит на этой дороге седой дервиш, старый-престарый; и смотрит он на толпу детей, которые весело играют на лужайке. Подошел Гайдар к дервишу и стал смотреть на ту же толпу и при этом подумал: «На что же он смотрит? На малых ребят?!» И спросил Гайдар дервиша: на что он смотрит так пристально?

– На великое, – отвечал дервиш. – Великое скрыто в малом. В малом лежит великое сердце, которое может любить и любовью все победить.

Усмехнулся Гайдар и отошел от дервиша.

«Это сумасшедший, – подумал он. – Я слышал от земных мудрецов, что дети любят только себя самих, а как они любят, это нельзя смерить никакой меркой».

И пошел он дальше, в ту самую деревушку, куда вела дорога.

В деревушке, на краю ее, была небольшая хижинка, и около этой хижинки сидела женщина, а около нее была целая дюжина ребят. Старшей девочке было лет 12—13. Младшего, годовалого младенца держала женщина на руках.

Мальчик был болен, умирал и, бледный, задыхающийся, лежал на ее руках. Женщина тихо плакала...

Гайдар подошел к ней и спросил:

– Что, он болен?

– Болен, – сказала женщина, – умирает. – И она вытерла глаза свои платком, которым была обвязана голова ее.

– Это сын твой? – спросил Гайдар.

– Сын.

– А это, кругом тебя, твои дети?

– Мои.

И все дети молча, серьезно, потупившись, толпились около нее.

– Чего же ты плачешь? – спросил Гайдар. – Смотри сколько у тебя детей... И тебе жаль одного...

– Если бы их и было не столько, а в десять раз столько, – сказала строго женщина, – если бы их было так много, как песку морского... все равно мне было бы жаль потерять хоть одного из них, ибо я любила бы всех их.

И при этих словах дети прижались к матери, а она еще сильнее заплакала.

И отошел от нее Гайдар, а отходя подумал: «Нельзя смерить эту любовь никакими мерами. Не в ней ли лежит „великое“?»

И задумался Гайдар и не заметил, как подошел к большой высокой горе, а у подошвы ее росли большие деревья, и под одним деревом лежал человек, а другой сидел, наклонясь над ним.

Гайдар устал и невольно, не замечая, опустился на землю и сел подле человека.

– Что, он болен? – спросил Гайдар человека.

Но человек ничего не ответил ему. Он растирал грудь у того человека, который лежал и тихо, жалобно стонал.

– Это брат твой? – снова спросил Гайдар.

Человек обернулся к нему. Строго, пристально посмотрел на него и тихо вразумительно проговорил:

– Все мы братья... У всех у нас один отец... – И он снова начал растирать грудь больному человеку. Больной стонал тише и тише. Он засыпал. Растиравший тихо отнял руку от его груди, медленно повернулся к Гайдару и, приставив палец к губам, тихо, чуть слышно прошептал:

– Он уснул! И да будет мир над тобой, брат мой!

Он сидел несколько минут молча, опустив голову. Гайдар смотрел на его худое, потемневшее лицо, с большими задумчивыми глазами, на его изношенную, изорванную одежду, на его бедную, заплатанную чалму и думал: «Он, наверное, беден и несчастен». И он тихо вынул из пояса кошелек и так же тихо положил его на руки своего собеседника. Но он отстранил его руку и сказал:

– Я не нуждаюсь!.. Отдай твое золото тому, кто не вкусил от даров нищеты и бедности... и кто думает купить на него продажные земные блага...

– Ты, верно, из одной деревни с этим больным? – спросил Гайдар.

– Нет, он из Иудеи, а я – самарянин. Меня зовут Рабель бен-Ад, а его – Самуилом из Хазрана.

Потом, помолчав немного, он пристально посмотрел на Гайдара своими черными глубокими глазами, и Гайдару показалось, что в этих глазах блестит тот же огонь, который он видел в глазах детей, игравших на лугу. И тот же самый блеск он видел в глазах женщины-матери, державшей на руках умирающего ребенка – ее сына. Рабель нагнулся к Гайдару и начал говорить ему тихо, поминутно оглядываясь на спящего Самуила.

– Лет пятнадцать тому назад, когда была, как и теперь, вражда между самарянами и иудеями, он пришел как вождь, с целым легионом наемных людей; он сжег нашу деревню, а отца и мать мою увел в плен.

– Что же ты ему сделал за это?! – вскричал в ужасе и негодовании Гайдар.

– Постой, – сказал тихо Рабель, – выслушай и потом суди, если имеешь право судить. Мне тогда было 17 лет... Я был молод. Кровь кипела во мне... Мне хотелось отомстить... Но у меня была сестра Агария, которую я любил больше отца и матери и больше всего на свете. Она была добра и красива. Ей было 12 лет. Когда Самуил напал на нашу деревню, я убежал с ней в горы Гаразимские и там скрывался в пещерах. Когда же через три дня я вернулся в нашу деревню, то не нашел ее. От нее остались одни развалины. Все было разорено и сожжено иудеями. Я взял сестру и снова увел ее в горы. Мы были прежде богаты, и у нас ничего не осталось. Мы питались подаянием от добрых людей. Ходили из селения в селение и собирали милостыню. Отца и мать мою увели и продали моавитам, и они умерли в плену. Так прошло года два или три. Один раз ночью на пещеру, в которой мы скрывались вместе с двумя другими семьями самарян, напали разбойники. Они вырезали почти всех, за исключением меня и Агарию, которую увели в плен и продали, как я потом узнал, Самуилу в невольницы. Тогда я дал клятву Богу всемогущему отомстить, отомстить за отца и за мать, за бедную сестру мою. Я стал издали скрытно следить за Самуилом. Много раз я видел, как он выходил из своего дома, но он выходил всегда окруженный свитой и своими друзьями, приятелями, и мысль, что мне могут помешать, что меня схватят и казнят, эта мысль останавливала меня.

Прошло немного времени. Один раз ночью, когда вся кровь волновалась во мне жаждой мщения и я не знал, где найти место вражде моей, я вышел за город. Ночь была душная, но ясная. Полная луна ярко освещала все предметы. Я, не помня и не замечая как, спустился в один из оврагов. На дне его лежал труп женщины, и при свете луны я узнал, что это был труп моей дорогой сестры, моей Агарию. Большая рана была в груди ее, прямо против сердца. Рана смертельная... Я лишился чувств и когда пришел в себя, то снова повторил страшную клятву об отмщении врагу моему. Я прочитал ее над трупом моей дорогой Агарию. Я омочил руку в крови ее и поднял ее к небу в знак того, что кровью моей дорогой сестры я клянусь исполнить клятву мою.

Рабель замолчал и на одну минуту закрыл лицо руками, как бы подавленный невыносимо жестокими воспоминаниями. Потом резко отнял руки и снова быстро заговорил:

– Ее убил Самуил. Это была последняя капля горечи, влитая в мою истерзанную душу. Я тогда жил одной мыслью отомстить... Мне казалось, что убить его будет мало, мало за все выстраданное моим бедным сердцем. С восходом солнца я просыпался с этой мыслью, она не расставалась со мной целый день. Я придумывал тысячи планов, как бы отплатить ему самым жестоким образом. У него не было ни отца, ни матери. Он был круглый сирота. Он был страшно богат и не любил никого... Я тогда не знал, что истинное сокровище скрыто в любви и что, не имея ее, он был беднее всякого нищего и беднее, о! гораздо беднее меня... Так прошло еще несколько лет. Один раз я потерял его из виду. Он уехал, но куда, я не знал и тогда... (при этом Рабель схватил руку Гайдара и крепко сжал ее) и тогда я узнал такие мучения, каких я не испытал во всю мою жизнь. Я желал смерти, я искал смерти. Несколько раз я порывался убить себя... Но меня останавливала страшная, данная мною клятва. Я думал, что для клятвопреступников нет прощения... Что же, думал я, ожидает меня за гробом? Гнев Господа и новые, более сильные мучения. А между тем мне постоянно мерещились тени отца моего, и матери моей, и моей милой и дорогой Агарии. Я видел их бледными, грустными и кивающими мне головами. Я видел их страшные кровавые раны, видел и днем и ночью, и мучился, и страдал невыносимо...

Тут голос его снова прервался... Он говорил с трудом, задыхался и, наконец, совсем остановился, помолчал несколько минут и затем снова начал тихим шепотом:

– Нет тяжелее страдания для человека, как стремиться отомстить и изнывать в бессилии... – Он помолчал и снова продолжал рассказ: – Все это прошло, давно прошло... все забылось... и за это я буду вечно благодарить Бога, если Он даст мне жизнь вечную. И еще больше, еще сильнее буду благодарить Его за то, что Он всю мою злобу, всю жажду мщения истребил и превратил в доброе великое чувство. Прошло много лет. И он, Самуил, снова возвратился... Я купил хороший нож. Я сам отточил его и не расставался с ним ни днем, ни ночью. Я почти не спал, и есть мне не хотелось. Днем и ночью я бродил около его дома. Но он был заперт, и Самуил никуда не выходил. На четвертый или на пятый день, не помню, я вышел на улицу поздно вечером, смотрю, впереди меня идет он. Я сразу узнал его по его широкому плащу, его абу – белому с красными полосами. Такие плащи продаются только в Дамаске. Он тихо шел и хромал, опираясь на высокий посох. Я ускорил шаг и опередил его. Луна светила прямо на его лицо, и я узнал его. Кровь бросилась мне в голову. Еще одно мгновение, и я кинулся бы на него, но я переждал это мгновение. Одно соображение быстро мелькнуло в моей голове. Он идет за город, в пустынное место. Он будет, может быть, около того оврага, в который он уложил труп моей бедной Агарии. Я пропустил его и тихо пошел за ним. Кровь моя клокотала. Адская злоба и радость кипели в моем сердце. Он шел тихо, почти поминутно останавливаясь и издавая тихие, жалобные стоны. Он, очевидно, был болен, страдал. Наконец мы вышли за город. Он прямо подошел к тому оврагу, в котором я нашел труп Агарии. Он опустился на краю его и со стоном припал лицом к земле. Он был теперь в моей власти. Я вынул мой нож. Я мог убить его безнаказанно и столкнуть в овраг. Где-то в глубине моей души раздалось: ты убьешь беззащитного. Но разве отец, мать моя и моя бедная, дорогая Агария не были также беззащитными? Я, как безумец, в ярости взмахнул ножом над его спиной... Но в то же самое мгновение кто-то остановил мою руку. Я обернулся. Позади меня никого не было, а в ушах моих громко и ясно раздалось слова: «Мне отмщение и Аз воздам».

В глазах у меня потемнело. Точно какой-то белый туман заволок их. И когда этот туман рассеялся, то я увидел, что стою далеко от оврага и весь дрожу. И вдруг я вижу, что Самуил, тихо стелаясь, поднялся и, шатаясь, подошел или скорее подбежал ко мне. Он раскрыл передо мной грудь свою, и на этой груди была громадная кровавая язва.

– Кто бы ты ни был, – вскричал он, – сжался надо мной – убей меня! – И он повалился мне в ноги. – Убей меня, потому что жизнь моя – одно непрерывное мученье. Я сам бы убил себя, но мне страшны мученья за гробом, вечные мученья самоубийцы. Я совершил ужасный грех. Я сжег и разорил целое селение самаритян, Я продал в плен отца и мать одного из них по имени Рабель бен-Ад; я увел у него его сестру Агарию, обесчестил и ее. Я совершил много злодеяний. Если бы я знал, где живет Рабель, я пришел бы к нему, и он, наверно, убил бы меня.

В эту минуту мне ужасно хотелось сказать ему: Рабель перед тобою, но я удержался. «Нет! – сказал я сам себе, – я откроюсь ему тогда, когда жизнь ему будет дорога, а не будет мучением». И с этой минуты мы стали неразлучны. Теперь прошло уже три года. Три года я, Рабель, постоянный свидетель невыносимых страданий, соединенных с ужасными мучениями совести. Один раз Самуил не спал целых три ночи сряду. Постоянная мучительная боль во всех костях не давала ему покоя ни минуты, и я тогда подумал: «Можно ли страдать еще больше, и недостаточно ли я отмщен? Отец, мать и сестра моя перестали страдать, а он, этот несчастный злодей, мучится и днем и ночью, мучится не переставая». И вспомнил я, что сказал Тот, кто остановил мою отмщающую руку: «Мне отмщение и Аз воздам».

И понял я, что никакие нож, и меч, и огонь не накажут и не отмстят так, как отмстил за меня Тот, кто управляет звездами и движет морями. В эти три года ненависть моя мало-помалу исчезла. Сначала, когда я слушал стоны Самуила, каждый стон и каждое его слово волновали мое сердце и оно просило его крови. Но когда он лежал беспомощно на моей груди, измученный и разбитый болью, когда он засыпал на этой груди, обессиленный страданьем, то чувство ненависти во мне смягчалось, стихало – и я чувствовал только одно сострадание. Я жаждал так же, как и он, прекращения этих страданий... Но иногда мне приходила в голову злобная мысль: открыться ему, сказать ему: «Я Рабель бен-Ад; я тот, у которого ты убил отца, мать и сестру. Ты уничтожил мой дом, разорил его, ты лишил меня всего, всего, что дорого человеку, и вот видишь, я ухаживаю за тобой, как за моим добрым другом. Я отмстил. Я заплатил тебе добром за зло...» Но такое признание могло увеличить его страдания, к мучениям совести прибавилось бы еще одно ужаснейшее мученье, а между тем и тех, от которых он страдал, было довольно, слишком довольно. Зачем же я буду еще его мучить?.. Вот уже более двух лет он не может жить без меня. Ему становится легче, когда я кладу руку на грудь его и растираю ее. Я давно уж бросил в реку тот нож, которым я хотел убить его. Я давно уже не могу покинуть его... и... мне страшно и стыдно признаться даже самому себе... – и он закрыл лицо руками и прошептал тихо, так тихо, что Гайдар едва расслышал его слова: – Я... я... люблю его...

И из-под пальцев, прижатых к глазам, покатались слезы.

Гайдар смотрел на его тяжело подымавшуюся грудь, и ему ясно казалось, что в этой груди бьется «великое», человеческое сердце.

Он тихо, задумчиво встал с земли и пошел прямо, прямо к той высокой горе, которая поднималась перед ним. Подъем был крутой, но ему казалось, что там, на этой высокой горе, он найдет «великое».

«Люди, – думал он, – всходили на эту гору, чтобы молиться, и, может быть, в этой молитве они находили великое!»

И он шел, поднимался, не замечая усталости. Его сердце как будто само поднималось, и ему становилось легко, свободно.

Он вспомнил Гудану, но это воспоминание как-то промелькнуло бесследно в его сердце, как далекая зарница среди жаркого лета. Он вспомнил детей, которых он видал там, на лугу, и это воспоминание осветило его, и сердце его забилося и как бы расширилось. Он вспомнил о матери, плачущей над ребенком, и его сердце наполнилось состраданием ко всем ее детям, и ко всем детям земли, и ко всем земным страданиям. Наконец, он вспомнил о Рабеле и Самуиле, и его сердце затрепетало свободно и радостно. Оно расширилось. Оно захватило все земное, все сотворенное «Великим» и Его – «Великого».

Но сердце человека не может обхватить и заключить в себе этого «Великого». Сердце Гайдара разорвалось.

Он упал.

Он был на вершине горы. Горный воздух был кругом него. Был простор, была свобода, и ясное, заходящее солнце освещало своими прощальными лучами лицо его, на котором была тихая, бесстрастная улыбка.

НОВЫЙ ГОД

I

С Новым годом! С Новым годом! И все веселы и рады его рождению.

Он родился ровно в полночь! Когда старый год – седой, дряхлый старикашка – укладывается спать в темный архив истории, тогда Новый год только, только что открывает свои младенческие глаза и на весь мир смотрит с улыбкой.

И все ему рады, веселы, счастливы и довольны. Все поздравляют друг друга, все говорят: «С Новым годом! С Новым годом!»

Он родится при громе музыки, при ярком свете ламп и канделябр. Пробки хлопают! Вино льется в бокалы, и всем весело, все чокаются бокалами и говорят:

– С Новым годом! С Новым годом!

А утром, когда румяное, морозное солнце Нового года заблестит миллионами бриллиантовых искорок на тротуарах, домах, лошадях, вывесках, деревьях; когда розовый нарядный дым полетит из всех труб, а розовый пар из всех морд и ртов, – тогда весь город засуетится, забегает. Заскрипят, покатаются кареты во все стороны, полетят санки, завизжат полозья на лощеном снегу. Все поедут, побегут друг к другу поздравлять с рождением Нового года.

Вот большая широкая улица! По тротуарам взад и вперед снуют народ. Медленно, важно проходят теплые шубы с бобровыми воротниками. Бегут шинелишки и заплатанные пальтишки. Мерной, скорой поступью – в ногу: раз, два, раз, два – бегут, маршируют бравые солдатики.

Вот между народа бежит и старушонка, а с ней трое деток. Старший сынок в маленьком обдерганном тулупчике без воротника и в протертых валенках бежит впереди, подпрыгивает, подплясывает и то и дело хватает за уши – бегут, бегут, скрип, скрип, скрип.

– Мороз лютой, погоняй не стой!.. Бежим, matka, бежим!

– Бежим, касатик, бежим, родной. Мороз лютой, погоняй не стой!.. Господи Иисусе! – Бежим, Гришутка, бежим, лапушка!..

И Гришутка торопится, пыхтит, семенит ножонками. Скрип, скрип, скрип... От земли чуть видно. Шубка длинная, не по нем, но его поддерживает сестренка Груша. Поддерживает, а сама все жметса, ёжится. – Похлопает, похлопает ручками в варежках и опять схватит Гришутку за ручку и – побежит, побежит!..

– Мороз лютой, погоняй не стой!..

Но Гришутка не чувствует мороза. Ему тепло, ему жарко. Пар легким облачком вьется около его личика.

И весь он там, еще там, где они были назад тому с полчаса. В больших палатах, где большая, большая лестница уставлена вся статуями и цветами. Там швейцар с большими черными баками, весь в золотых галунах, в треугольной шляпе и с большою палкой.

Там живет сам «его превосходительство», и они ходили поздравлять его с Новым годом.

Каждый Новый год приходит Петровна с детками поздравлять его превосходительство, и каждый раз его превосходительство высылает ей три рубля за верную и усердную службу ее покойного мужа Михеича.

И на этот раз швейцар доложил – и через час выслали с лакеем новенькую, не согнутую трехрублевую бумажку.

Петровна поклонилась, поблагодарила, перекрестилась, дала швейцару двугривенный, на который он посмотрел искоса, подбросил на руке и затем с важностью опустил в жилетный карман.

Все время, пока они стояли в сенях у его превосходительства, Гришутка на все дивовался, все осматривал своими большими черными глазами и поминутно теребил мать за рукав.

– А это, мама, лестница? – лепечет он чуть слышно.

– Лестница, касатик, – шепчет мама.

– А куда она идет?

– Наверх, в комнаты.

– Они тоже большущие?

– Большущие, касатик, большущие.

– А на лестнице это сады рассажены?

– Сады, родименький, сады.

– А между ними, что за куклы большущие, белые, стоят?

– Это для красы, лапушка, для красы.

– А это что, вон там, светлое такое – большущее?

– Это зеркило, касатик, зеркило.

– А это, посреди, из чашки вверх бежит, это что такое, мамонька?

– Это фантал, касатик, фантал... А ты нишкни, лапушка, сейчас придут... не хорошо болтатьто...

И Гришутка замолк, но не успокоился. Его черные глаза словно хотели проникнуть насквозь и ковер на лестнице, и медные прутья, которыми он был пристегнут, и лепку на сводах высоких пилястр, и грациозную фигурку сирены, поддерживающей чашу фонтана.

«Вот бы туда посмотреть! – думал он, – в те большущие комнаты, что на верху этой лестницы с куклами. Там, чай, каких чудес нет?..»

И он бежал дорогой и все придумывал, воображая – какие должны быть чудеса на этой большущей лестнице?

– Бежим, бежим, лапушка, замерзнешь, – торопила Груня.

И Гришутка инстинктивно бежал скоро, скоро, скоро. Скрип, скрип, скрип, скрип, скрип!..

II

Прибежали в переулчишко, узенький, дрянненький, в двухэтажный серенький домишко и то на задний двор, чуть не в подвальный этаж; перед грязным, заплесканным крылечком целая гора намерзла грязных помоев. Скатились, точно в яму. Здравствуйтесь! домой пришли.

– Холодно! голодно!

– Погодите, ребятки, – говорит мать, – теперь у нас есть что поесть и чем погреться. Погодите, родненькие. Сейчас будем с Новым годом. Я духом слетаю, дровец куплю, того, сего.

И действительно, духом слетала. Только по дорожке, на самую чуточкуминуточку в питейный дом завернула и шкалик перепустила, – да тут же рядом в лавочке пряничков, орешков, леденчиков купила и три фунта колбасики вареной, да краюшку решотнаго, да полфунтика масла промерзлого – чтобы Новый год было масляно встречать.

– Ну! Пташечки-касаточки, вот вам! – И того, и сего, и этого... Груня, клади, матка, живей дровец в печь! Насилу, насилу все-то дотащила.

И Груня положила дровец, растопила печку. Зажарили вареную колбасу в масле. Мать суетилась без отдыха. Груня и Вася помогали ей с усердием. Вскипятили самоварчик, достали с полочки чайник с отбитым носком, с трещинами, чашки полинялые и побурелые. Из сундука вынули сахар в жестяной коробочке и щепотку чаю, бережно завернутую в бумажку. Чай давно уже пахнул кожей и сеном. Впрочем, он и свежий был с тем же самым ароматом.

Только Гришутка не принимал участия в общей хлопотне. Он как сел у замерзлого окошечка, так и не отходил от него. Он хмурился и скоблил ледяные узоры на разбитых оконцах. Но, очевидно, машинально скоблил, а его душа и мечты находились там, там – в этих большущих сених с мраморной лестницей, усаженной садами, уставленной большими куклами...

– Гришутка, касатик, дай скину красну рубашечку – да в сундучок спрячу – до праздника. А то, не ровен час, касатик, запачкаешь, упаси Господи!

– Нет, мама, я в ней останусь...

– Запачкаешь, мол, говорю, касатик. – И мать подходит к нему, обнимает и целует – в надежде, что касатик снимет драгоценную рубашечку из красного канауса и плюсовые черные шаровары, подарок крестной матери; но касатик положительно возмущается...

– Отстань, мамонька! Говорю: не замай!.. От тебя вон водкой воняет...

– А это я для куражу, для праздничка, лапушка, выпила, – оправдывается мама, быстро вертя рукой около смеющегося, красного, истрескавшегося лица.

– Ну, ладно! Отстань, мамонька, я целый день буду в эвтом ходить, – вот что! И мамонька отстала. Пушай его, думает она, уснет младенец, я его, крошечку, раздену, а теперь пушай пощеголяет, душеньку для праздника потешит.

– На-ко, сахарный, леденчиков да пряничков! – предлагает она.

И сахарный машинально, задумчиво берет леденчики и прянички. Но, очевидно, думы его слаще ему леденчиков и пряничков.

Наелись, напились, – напраздничались. – Пришли гости: кум, да сват, да свояченица, принесли гостинцев.

– С Новым годом, с новым счастьем. Дай Бог благополучно!..

Послали Ваню за полуштофом. Опять поставили самовар, и пошли чаи да рассказы без конца и начала...

Наконец, наговорились, разошлись по домам.

Стемнело. Гришутка припрятал пакет, что мать принесла с пряниками, и в нем с десяток пряничков и леденцов. Как ни тянуло его, он ни один не съел, все припрятал с пакетом, завернув его тщательно, и все держал за пазухой.

– Мамонька! – обратился Гришутка к матери, – а там, там, где мы были, – там долго спать не ложатся?..

– У его превосходительства?.. И-и, касатик медовой, ведь они баре, – сказала она шепотом. – У них ночь заместо дня. Мы давно уже спим, а они до вторых петухов будут сидеть.

– Что ж это они делают, мамонька?!

– А вот что, касатик. Седни вечером у них елка. Большуцу, большуцу такую елку поставят и всю ее разуберут всякими гостинцами, конфектами, да всю как есть свеченьками уставят. Страсть хорошо! А наверху, на самом верху звезда Христова горит... Таки прелести – что и рассказать нельзя. Вот они, значит, около этой елки все соберутся и пируют.

И Гришутка еще больше задумался. – Большая елка, с Христовой звездой наверху, приняла в его детском все увеличивающем представлении сказочные, чудовищные размеры.

К вечеру matka стала совсем весела. Всех, и Ваню, и Груню, и Гришутку, заставляла плясать и сама прищелкивала и припевала:

Уж я млада, млада сады садила,
Ах! Я милого дружочка поджидала...

Наконец, она совсем стала сонная. Ходила покачиваясь. Все прибирала. Разбила две чашки, расплакалась, свалилась и захрапела.

– Ну, – сказал Ваня сестре. – Теперь матку до завтра не разбудишь. Пойдем за ворота поглазеем. И они, накинув тулупчик и пальтишко, вышли за ворота.

Гришутка остался один.

В комнате совсем стемнело. Он присел около печки в угол, прислонился к ней и думал упорно все об одном и том же. Темная комната перед ним вся освещалась, горела огнями. Чудовищная елка вся убиралась невиданными дивами, и все ярче горела на ней звезда Христова. Наконец воображение устало. Гришутка зевнул, съежился, прислонился ловчее к печке и крепко заснул...

Долго, долго прогуляли Груша с Ваней: бегали на большую улицу, смотрели в окна магазинов, наконец вернулись, и целые клубы пара ворвались с ними в комнату. Он обхватил, разбудил Гришутку.

Весело перешептываясь и смеясь, дети разделись и спать улеглись, – а об Гришутке забыли.

Он тихонько привстал, потянулся. Подождал, пока брат и сестра заснули. Тихо, на цыпочках подошел он к своей шубке. Кое-как надел ее. Надел шапку, варежки, натянул валенки – и тихонько вышел, притворив дверь как мог плотнее.

Черная ночь обхватила его морозным воздухом. В переулке тускло мерцали фонари.

III

Он помнил только, что «его превосходительство» живет на улице, которая называется Большой Проточной, и что в эту улицу надо свернуть с Заречного проспекта.

Вышел он из переулочка на улицу и у первого попавшего «дядюшки» спросил – как ему пройти в Большую Проточную.

– Эх ты, малыш! – сказал дядюшка. – Как же ты эку даль пойдешь? Ступай до угла, а там поверни налево... и все прямо, прямо иди, все так-таки прямо все иди, иди по проспекту-то, а там спроси – укажут, чай, добры люди... Ах ты, малыш, малыш!

Смотри через улицу не переходи! Задавят... Да тебя кто послал-то?!

– Никто, дядюшка, я сам, к его пливосходительству иду...

– Сам! – удивился дядюшка и долго смотрел вслед Гришутке, – а он, подобрав шубку, бежал, бежал, как было указано. Пот давно уж капал с его покрасневшего личика. Он шатался. Ноги ему отказывались служить...

Наконец еле дыша, чуть не плача, подошел он к другому «дядюшке».

– Дяденька! Укажи мне, где Большая Проточная.

Дяденька поглядел на Гришутку, подумал. Нагнулся к нему.

– Считать умеешь?

– Нетути!..

– Нету-ти. Ну, вот что. Смотри, – и он растопырил пальцы. – Вот одна улица, другая, третья. И поверни ты в эту третью. Это и будет Большая Проточная... Понял?

– Понял! – прошептал Гришутка. – И с новыми силами, с новой бодростью в сердце побежал дальше.

Против первой улицы он загнул один пальчик, против второй – загнул другой, в третью повернул. Шел, шел и вот... Да! Действительно, это был он, дом «его превосходительства». Но отчего же перед ним стоят все кареты, кареты?

Гришутка вздохнул полной грудью и поднялся на крыльцо.

С трудом он чуть-чуть отворил и протиснулся в большие дубовые двери с зеркальными стеклами. Отворил он и вторые двери и очутился в сенях.

Газовые лампы ярко горели. В сенях никого не было. Зато в швейцарской направо слышались громкие голоса и смех.

Гришутка подумал, идти ли ему к швейцару, или не идти. Он боялся его большой палки с золотым шаром и больших черных бакенбард. На вешалке висело много шуб. Он скинул тулупчик, свернул его комочком и положил на пол в уголок. Затем вынул из-за пазухи гостинцы – пакетик с леденцами и пряниками – и бодро отправился вверх по мраморной лестнице.

Статуи точно смотрели на него с их пьедесталов; но он, не глядя на них, бойко всходил наверх. Маленькое его сердце колотилось в груди, голова шла кругом.

Наконец он поднялся на высокую лестницу. Там, наверху, все зеркала, зеркала – и он увидел в них себя, увидел свое покрасневшее личико – с большими черными глазами.

Потом он вошел в первую залу – всю красную, раззолоченную. Пол такой скользкий и блестит как «зеркало». А там, впереди, был шум, говор, детские голоса, детский смех.

Гришутка пошел туда. Он прошел всю длинную залу и подошел к двери. Перед ним была большая, большая белая зала, – и посреди ее большущая елка.

Вся она сверху донизу горела и сверкала огоньками! А на самом верху сияла большая, большая звезда Христова.

Кругом елки были дети, много детей в ярких нарядных платьицах. А кругом них стояли господа, барыни... Шум, говор, смех!..

У Гришутки потемнело в глазах. Вся зала покрылась словно туманом и закачалась. Но это было ненадолго. Он вытянул вперед ручонку с гостинцами, плотно прижал другую к груди, к колыхавшемуся сердцу и бодро пошел вперед.

Он подошел прямо к высокому седому господину.

Этот господин и был сам «его превосходительство».

– Ваше пливосходительство! – сказал внятно Гришутка, – вот я пришел с Новым годом вас поздравить. Вот-с и гостинцы!

– Это мне? – спросил его превосходительство.

– Вам, ваше пливосходительство... А мне можно будет поиграть здесь?

Его превосходительство удивленными глазами, не переставая улыбаться, посмотрел на Гришутку, на его доброе, красивое личико с умными большими глазами.

Он смотрел, а сам развертывал серый пакетик с леденцами и пряниками.

– Да кто же ты? – спросил он с недоумением, оглядываясь кругом.

– Я Гришутка... Мама, знаете, спать легла, и все спать легли. Я все сидел да думал, сидел да думал, как бы мне посмотреть на большую елку. Взял да и пошел один. Спросил сперва одного дяденьку, потом другого дяденьку, – а он растопырил этак руку – вот, говорит, одна улица, а вот другая улица, и там будет третья. Ты в третью-то и ступай...

Большие и малые обступили Гришутку. Нимало не смущаясь, он осматривал всех и продолжал рассказывать.

– Да кто же твоя мама? – спросил его хозяин дома.

– А Петровна... чай, знаете?

– *Quel charmant enfant!* (Какое прелестное дитя), – сказала одна молодая дама. – *Dieu! Quels yeux!* (Какие чудные глаза!)

– Где же живет Петровна? – спросил его превосходительство, обертываясь к дверям залы.

У этих дверей стояли несколько слуг и один скоро, скоро подошел к его превосходительству.

– Узнайте, где живет Петровна? – сказал его превосходительство.

И слуга быстро побежал, узнал и доложил, что Петровна живет на Песках, в Глухом переулке.

– Боже мой! и этакую даль ты шел один! – вскричали дамы.

– Тссс! – произнес генерал, покачав головой.

– Ну, – сказал он, – Гришутка, теперь пойдем – я тебя, брат, представлю хозяйке дома, – и он повел Гришутку за руку в гостиную, в которой было не так светло и где сидели старые, почтенные дамы.

– Вот, – сказал он, входя в гостиную, – рекомендую вам джентльмена с Песков. Один ночью пришел с Песков сюда, пришел поздравить меня с Новым годом – и вот вам – гостинцы принес... не угодно ли. – Говоря это, он любезно предложил дамам – *les bonbons de Piessky*.

– *Quel délicieux enfant!* – вскричали дамы. – Прелестный ребенок: подойди, душечка, сюда... *Ravissant!*... Как же это ты один шел... И не страшно тебе было?

– Нет, – сказал Гришутка. – Я, знаете, все бежал, бежал так шибко, шибко. Одного дяденьку спрашиваю, где, мол, Заречный проспект, а он говорит: тебя, мол, говорит, кто послал?..

– Да тебе сколько лет-то? Клоп ты с Песков!.. – спросил вдруг его превосходительство.

– Мне семой...

– *Qu'est ce que sa...*; семой – *quel baragouin!*

– Вот, княгиня, – обратилась хозяйка к старой, больной даме. – Вы искали воспитанника. Вот вам сирота, изволите видеть... один в одиннадцатом часу с Песков пришел. Можете вы себе представить... один, один... с Песков пришел.

Княгиня взяла Гришутку за ручку и притянула к себе... Она посмотрела в его личико. Гришутка пристально посмотрел на нее...

– Знаешь что, Гриша, – сказала она, – это не сам ты пришел, а Бог привел тебя... ты любишь Бога?..

– Для-че не любить. Я всех люблю, коли кто добрый. А вот у нас дворник Наумыч, чай, знаете, он злощий, все маму бранит. Я его не люблю.

– А меня будешь любить?

– Тебя-то?

Он пристально посмотрел на добрые, полусонные глаза княгини.

– Ладно. Для-че не любить.

Говоря это, он тщательно рассматривал вышитый ридикюль княгини и кисти его из стального бисера.

– Ну! Гришутка с Песков, – сказал генерал, – пойдем теперь в залу. За твои гостинцы я тебе сам дам гостинца. И, взявши опять Гришутку за ручку, он привел его к елке.

– Ну, чего хочешь? Выбирай!

Пред Гришуткой запестрели нарядные бонбоньерки, корзиночки, игрушки – все как жар золотом горело и рябило глаза. Но Гришутка твердо помнил одно то, что занимало его целый вечер.

– Мне, дяденька, ваше пливосходительство, – сказал он, – Христову звезду дайте.

– Какую Христову звезду? – спросил удивленно его превосходительство.

– Вон, вон, на самой вершинке-то – така, как жар горит!

– Ооо! чего захотел! Самой вершинки захотел. Ах ты, клоп с Песков!.. Да как же я достану до звезды-то Христовой. Видишь, видишь... я еще не дорос до нее...

– А вы, дяденька, ваше пливосходительство, велите лестницу принести. Такую большущу, у нас есть на Песках така лестница, что по крышам лазают.

– Ха! ха! ха! – засмеялся его превосходительство, и все дети дружно захохотали кругом.

– Ну, я велю принести лестницу, – сказал его превосходительство, – только, думаю, такая лестница и здесь найдется, за ней не надо на Пески ходить.

И он велел принести лестницу.

Принесли ее три лакея и подкатали как раз к елке.

– Ну, – сказал генерал, – Гришутка с Песков, вот тебе и лестница. Теперь, если хочешь, полезай сам и доставай Христову звезду.

И Гришутка бодро кинулся на лестницу. Бойко взошел он на нее. Но ручонка не доставала до звезды.

Не долго думая, он схватил ближайшую ветку и потянул к себе. Несколько свечек упало, несколько золоченых яблоков и орехов полетело вниз; но Гришутка крепко схватился за звезду, изо всех сил потянул ее, и звезда осталась у него в руке.

Высоко подняв звезду над головой, весь красный от волнения, весь дрожа, он начал спускаться с лестницы. Дети и барыни закричали «браво, браво!» и громко захлопали в ладоши.

Гришутка спустился с своим сокровищем.

– Ну, – сказал его превосходительство. – Молодец, Гришутка с Песков! Знаешь ли, что это за звезда?

Гришутка ничего не отвечал. Он тяжело дышал.

– Эта звезда будет твоей путеводной звездой, – понимаешь? – твоей путеводной звездой. Она тебя выведет на дорогу. Береги ее!

IV

Прошло много, много лет.

Давным-давно не стало матери Гриши. Не стало Груни и Васи. Умер его превосходительство и княгиня-воспитательница Гриши, а сам Гриша из Гришутки давно превратился в Григория Васильевича, и сам стал «его превосходительство».

Он даже поселился на Большой Проточной, недалеко от прежнего дома его превосходительства, от того самого дома, в котором он добыл когда-то свою «путеводную звезду».

Он жил в третьем этаже на большой лестнице; на ней также стояли статуи и большие растения. И эта лестница была общая для всех этажей и всех квартирантов.

В квартире была большая передняя и несколько комнат, светлых, чистых и просторных.

У него была добрая старушка жена, три взрослые дочери и две внучки.

Всю жизнь его вела «путеводная звезда» по светлой прямой дороге. Он всю жизнь хлопотал о том, как бы устроить для всех Гришуток приюты, где бы они воспитывались и выходили в люди не по прихоти случая или «путеводной звезды».

Он думал, что придет, наконец, то блаженное время, когда не будет глухих закоулков на разных «Песках» и люди не будут жить в подвальных этажах, подле помойных ям и мерзнуть от холода в зимние морозы.

Он много трудился над этим делом – и теперь почти пятьдесят лет прошло с тех пор, как он в первый раз выступил на эту дорогу.

Много было основано им всяких благотворительных обществ и учреждений, много построено всяких благодетельных зданий и заведений. Но чем более он их строил, тем дальше уходила от него цель, за которой он гонялся, как мальчик за тенью.

Пятьдесят лет тому назад он вышел на смертный бой с тем чудовищем, которое зовут людской бедностью.

Он бился с ним ровно полвека, и что же?.. Чем больше он бился, тем больше вырастало чудовище. Он строил новые учреждения, и новые головы вырастали у чудовища, как у гидры.

Город разросся. Но не исчезли его «Пески» и глухие закоулки. Они только отодвинулись на новые окраины, а в самом центре завелись углы и подвалы – грязные закоулки и разные помойные ямы. Завелись целые приюты нищеты и разврата...

Он чувствовал, как руки его опускались, – он, семидесятилетний старик, – чувствовал, что борьба кончилась, что победило его страшное чудовище.

Грустный, испуганный сидел он один в своем кабинете, накануне Нового года, опустив на руки свою седую голову.

А в зале раздавались веселые голоса, детский смех.

Но ничего не слышал он. Не сводя глаз, он смотрел прямо, упорно, и глаза его в ужасе раскрывались шире и шире.

Перед ним стояло отвратительное чудовище – грязное, худое. Оно дрожало от холоду и едва ворочало коснеющим языком. Его костлявое тело выглядывало из множества дыр обдерганного, обтрепанного рубища.

А сзади его, смеясь, самодовольно шло другое чудовище, еще более отвратительное, – чудовище, страшное своей бесчеловечностью и силой. Оно хохотало пронзительно – и при этом тряслись его длинные пейсы и остроконечная борода...

Оно шло на смену и было непобедимо...

Нестерпимый ужас охватывал сердце...

– «Путеводная звезда», – шептал он, – «путеводная звезда», куда ты меня привела?!!

И он смотрел с укором на эту «путеводную звезду», на это воспоминание из его далекого детства. Она висела перед ним на стене, обделанная в золотую рамочку.

Но в это время в соседней комнате раздались детские голоса, и в кабинет к нему ворвалась веселая компания.

Впереди всех бежали две его внучки с бокалами в руках, с букетами белых роз.

– С Новым годом, деда, с Новым годом!.. С новым счастьем, – и они обе обхватили его шею...

Подшли дочери, подошла и жена – и обняли его голову.

– С Новым годом, старик! – сказала она, целуя его.

Но старик ничего не ответил... Только горькие слезы тихо катились по его доброму старческому лицу...

Руф и Руфина

I

В старые, древние годы, на родном месте, стоял дремучий лес – сосны да сосны, ели да ели – высокие, седые спали в дреме дремучей и весь лес словно мохом серым оброс.

Давным-давно, когда был он молод, когда свежая, юная жизнь играла в каждом зеленом деревце – и солнце глядело в самую глубь его, на все молодые стволы берез, сосен и елей, когда оно ласкало и согревало траву и цветы, что росли вокруг этих стволов, – тогда все в лесу было полно жизни и свету.

Птички порхали по молодым деревьям и кусточкам; бабочки кружились над цветами, мышки бегали и резвились на лужайках. Они приходили пить воду из маленького озерка, и водяные брызги текли по их усам и бархатным мордочкам, играли на солнце мелкими бриллиантиками.

Тогда в лесу было весело, отрадно. Над озерком на маленькой полянке росло большое дерево, и под это дерево приходили играть двое детей, мальчик и девочка. Мальчика звали Руфом, девочку – Руфиной.

Они были чужие друг другу, сироты, но сердца их сжились и сроднились.

– Ты мой брат, мой милый Руф, – говорила девочка, – а я твоя Руфина.

Но Руф ничего не отвечал на этот теплый привет своей названной сестры. Он только брал ее крохотную, пухлую ручку и крепко сжимал в своих крепких, сильных ручонках.

– Руф! скажи мне, милый, отчего солнце светит и греет, отчего цветы цветут, зеленеет травка и поют и порхают птички и бабочки.

Но Руф не вдруг отвечал Руфине. Он посмотрел на солнце, на цветы и зеленые луга, на порхающих птичек и бабочек и тихо сказал:

– Оттого, что солнце горит и не сгорает. Это вечная лампада. Оно светит, и греет и землю, и вместе с ней все, что вертится вокруг него. Если бы солнце не грело и не светило, то не было бы и лесу, и бабочек, и птичек, и мышек.

Руфина крепко задумалась и потом встряхнула всеми своими русыми кудрями и, взглянув на Руфа своими любящими, ясными, светло-голубыми глазками, сказала:

– Нет, мой милый Руф! Мне кажется, это не так. Солнце греет землю, потому что оно любит ее. Оно любит ее и убирает и зеленой травой, и лесом, и цветами. Оно зовет из земли и травку, и деревья, и кусты, и они идут к нему на его ласковый зов, любят друг на друга и любят на солнце, и солнце на них любит. Бабочки льнут к цветам, ласкают цветы, а птички так любят лес, кусты и деревья. Слышишь! Слышишь! Как они весело чирикают?! Это они поют песню любимому солнцу, свету и воздуху.

Руф посмотрел на нее и улыбнулся.

– Крот не любит света! – сказал он. – И сова, и филин, и волк, и лиса, и рысь, и всякий хищник крадется ночью, – потому что ночью им лучше, удобнее ловить добычу. Они все не любят света.

– Да, они никого и ничего не любят, и их никто не любит, потому что они злые, – перебила его Руфина.

– Если бы не было злых и все были бы добрые, – сказал Руф, – то мы не знали бы, что они добрые.

– Ах! это не нужно знать... Мой милый Руф! Это надо чувствовать – и сердце сейчас чувствует, слышит, кто добрый и кто злой.

Руф опять усмехнулся.

– Если были бы одни добрые и солнце бы любило их, – то, наконец, их бы столько народилось, что всем бы на земле стало тесно, и корма бы им не хватало, и они поневоле стали бы есть друг друга.

Но Руфина в ужасе зажала себе уши и вся вздрогнула. Руф искоса взглянул на нее, улыбнулся и сказал:

– На свете всюду борьба добра со злом. И если б не было этой борьбы, то все люди, птицы и звери и рыбы давно бы спали сном праведным и не дошли бы до того, до чего дошли теперь... Борьба не дает им спать покойно. Она постоянно их будит и заставляет быть добрыми и деятельными.

Руфина всплеснула своими маленькими ручками.

– Да разве борьба заставляет быть деятельными? Борьба есть зло, так же как и лень... и блажен тот, кому даны силы победить в себе косную неподвижность. Руф, мой милый, дорогой Руф! Я верю, что есть где-нибудь там... там далеко, куда не доходит свет солнца, там есть блаженная страна, где нет борьбы и где все добро и любовь.

– Да!.. Как бы не так! Ты вот всему веришь, а ничего не знаешь и никогда не будешь знать!

– О! Мой родной Руф! Если бы и в тебе было больше веры и меньше знания, то как бы легко тебе жилось на свете!

– Мне и теперь жить нетрудно. А будет больше знания у меня и у людей, то будет еще легче жить. Гораздо, гораздо легче...

Но Руфина вздрогнула и вскрикнула, показывая на траву:

– Руф! Руф! Смотри... змея!.. Но Руф схватил эту змею за хвост, и она, шипя и извиваясь, обернулась двумя кольцами вокруг его руки.

– Руф! – вскричала Руфина. – Что ты делаешь!

И она бледная схватила его за руку и старалась оторвать змею от его руки.

Но он легким движением отстранил ее.

– Это не змея, а уж! Пойми и знай, что это безвредный, невинный уж... Ты даже этого не знаешь и не можешь отличить змею от ужа.

– Смотри, она выставляет жало!.. Она ужалит тебя!..

– И это вздор! Это не жало, а язык у него, и никакая змея не жалится, а кусается ядовитыми зубами... И этого ты не знаешь!

И он бросил ужа на землю. И уж быстро пополз к озерку и ушел в воду.

Руф и Руфина смотрели, как он полз и как скрылся в воде.

II

С тех пор прошло много лет. Руф вырос и стал крепким и сильным молодым человеком. Но всего сильнее и крепче была его голова. В ней был целый громадный склад знаний. Он знал, что было в далеких, беспредельных пространствах эфира. Он знал, что было в глубоких тайниках земли и на дне океанов. Он говорил, что нет тайн и нет пределов для его знаний. Он ходил гордо, подняв голову, с высоким огромным лбом. Его темные волосы вились вокруг этого лба, точно темная волнистая корона. Он смотрел своим острым всепроницающим взглядом в высокое небо, и этот взгляд видел тайны далеких миров, которые горели светлыми лампадами на темном ночном небе.

И этого мало. Он не только знал; он был силен этим знанием. Ему повиновались и воздух и море.

И Руфина никогда не разлучалась с ним, с ее милым Руфом. Она удивлялась его знаниям и силе. Но прежде и больше всего она любила его – и одного добивалась она, об одном молилась, чтобы ее Руф узнал великую силу любви и веры.

Но эту-то силу он не признавал. В нее он не верил.

Раз в темную осеннюю ночь Руф пошел в лес и Руфина пошла за ним.

Он говорил Руфине:

– Люди признают добро и зло, темные и светлые силы – но это заблуждение. Темные силы переходят в светлые, и нельзя отличить, где кончаются темные силы и где начинаются светлые. Где кончается зло и начинается добро. Всякий человек, имеющий знание, может победить все силы и встать выше их... Главная сила, сила всех сил, – это ум человека, и ты сейчас увидишь его силу.

Руфина вся похолодела и задрожала при этих словах.

А он протянул свою руку вперед. Все волосы на его голове разметались во все стороны.

Хрипло и глухо начал он произносить непонятные слова... И по мере того, как он выговаривал их, весь лес, весь воздух начал наполняться шумом. Точно сильный ветер налетал на землю и тихо качались и скрипели столетние деревья, а по земле шел топот множества копыт! Точно громадный табун скакал по ней. И весь лес, все деревья поклонились Руфу. Все они со страшным шумом нагнулись и прилегли к земле, а вся земля гудела громом подземным и тряслась от страха.

С ужасом оглянулась Руфина кругом, и всюду, со всех сторон света, склонялись деревья, кусты и травы, холмы и горы. Все лежало ниц... Один Руф стоял гордо и прямо и творил заклинанья. А Руфина, бледная от ужаса, склонилась к его ногам.

И вдруг он взмахнул руками и начал тихо приподниматься от земли к небу.

Руфина слабо вскрикнула и вся задрожала.

Она думала, что ее Руф, ее сильный Руф, покинет ее на земле, что он поднимется в небо и улетит от нее.

Но почти в то же мгновение страшный удар грома загремел в ясном небе, загремел в вышине, там, где сияли мириады звезд, и вслед за ним вдруг поднялись, вскочили все деревья, кусты и травы, холмы и горы; а Руф, ее сильный Руф, закричал страшным могучим голосом. Его руки, приподнятые гордо к небу, все застыли в их движении и превратились в громадные ветви. С боков тела во все стороны протянулись длинные сучья, а ноги ушли глубоко в землю толстыми корнями.

Не стало Руфа!.. На место его стояла громадная чудовищная ель, гордо поднимая к небу свою многоветвистую вершину!

Дико, безумно вскрикнула Руфина и без чувств упала на толстые корни ели.

III

Когда она очнулась, было уже утро – тихое, ясное утро. Лес был полон птичьих голосов. Мирно, угрюмо стояли сосны и ели, и выше их всех высилась чудовищная ель.

Руфина обхватила ее крепко руками. Горькие слезы лились из ее глаз. Они шли прямо из любящего сердца и поливали землю, в которую вросли могучие корни ели.

И целый день и целую ночь Руфина не отходила от ели. Она сидела, закрыв глаза, прилоняясь головой к ее толстому, огромному стволу, и слезы бежали, струились из ее глаз.

По временам она со стоном отнимала голову, крепко обеими руками обнимала ель и начинала горячо целовать ее. Она думала, что этими поцелуями передаст живую человеческую душу ее милому Руфу.

«О! – думала она – если б я была птицей, я взлетела бы на самую вершину моего милого Руфа, я прошептала бы другу слово любви и утешения...»

И она молилась, жарко молилась светлым силам.

И светлые силы исполнили ее желание.

Рано утром на восходе солнца у ней выросли крылья. Она превратилась в кроткую, хорошенькую горлинку.

Радостно вскрикнула она, взлетела на вершину ели и хотела высказать Руфу свое теплое, сердечное слово... но вместо слов из ее сердца полились только жалобные, сердечные песни... и она грустно, невыносимо грустно ворковала над своим милым, дорогим Руфом.

И шли дни за днями.

В ясную, тихую погоду все ветви и сучья громадной ели тихо опускались вниз; но в дни бурливые и ненастные они злобно поднимались кверху и как будто грозили небу. И бедная Руфина при этом вся трепетала и ворковала так громко и жалобно, что у всех птиц сжималось сердце от жалости к несчастной горлинке Руфине.

Один раз после томительно-жаркого дня надвинулась страшная туча и заволокла почти все небо. Все потемнело на земле. Вся травка в ужасе припала к ней, деревья грустно качали вершинами и кланялись небу. Одна громадная ель не склонилась перед ним. Она гордо и злобно подняла к нему свои ветви и стояла неподвижно, гордая своей силой...

Страшный, оглушительный удар, от которого задрожали все деревья, потряс горы и скалы и воздух, и вершина Руфа, разбитая, расщепленная, полетела на землю.

Руфина оцепенела от ужаса. Долго лежала она, припав к земле, наконец встрепенулась, жалобно вскрикнула, вспорхнула и села на раздробленную, поверженную на землю вершину ели.

Это все, что осталось ей от милого, дорогого Руфа...

С тех пор прошло много, много лет. Старый, хмурый, седой лес обступил, оброс со всех сторон разбитую ель, ее вершина давно умерла, посохла; но, как и прежде, на этой вершине сидит неизменный друг, любящая горлинка Руфина и грустно воркует и поет тихие, сердечные песни – ее милому погибшему другу.

Сказка

– Бабушка, что такое сказка? К чему она нужна; ведь это все неправда, выдумка? Разве были когда-нибудь скатерти-самобранки да ковры-самолеты, волшебники и волшебницы?

Бабушка посмотрела на внучку сквозь свои окошечки в томпаковой оправе, в которой каждое стекло было с добрый пятак, посмотрела, улыбнулась своей ласковой, доброй улыбкой, поправила чулок и платок, погладила Ваську и сказала:

– Ну, садись, слушай!

И внучка тотчас же уселась на скамеечку у ног бабушки, потому что слушать у ней всегда была охота смертная.

– За горами за долами, – так начала бабушка, – за морями-окианами, за реками быстрыми, за песками сыпучими, за болотами трясухими, за борами дремухими, в земле Трухтанской, в царстве Мурзаханском жил-поживал царь Альбазар с царицей Наяной и с дочкой Альмарой, ясной душой. В целом свете не было девушки краше Альмары-души. Встанет она – и все травки поднимутся, пойдет она – все птички летят за ней. За ней солнышко ходит, к ней ветерок ластится, и все люди на нее не налюбуются.

– Ну, Альмара моя милая, – говорит царь Альбазар, – исполнилось тебе шестнадцать лет, совершеннолетие, и надо справлять его, праздновать по всей земле.

И послал царь герольдов и вестников в царства дальние и ближние, всех звать, приглашать, чтобы все ехали справлять веселый пир, на всю землю Мурзаханскую.

И потянулись, поехали из ближних и дальних стран цари и царицы, царевичи и царевны, короли и королевы, принцы и принцессы, рыцари храбрые и витязи удалые. Все едут, спешат, скачут, летят, на конях и верблюдах, на оленях и страусах, на орлах и лебедях, пыль столбом, дым коромыслом.

Весь дворец царя Альбазара к празднику обновили, поправили. Все хрустальные башенки вымыли, вычистили.

Все серебряные крылечки кирпичиком вытерли. Все они сияют, светятся, а все главы и куполы золотые как жар блестят, горят-радуются.

И вот настал торжественный день. Все посели в полукруг на высоком крыльце и впереди всех, на высоком серебряном стульчике сидит Альмара-душа, и вся краса ее, словно солнце, играет и светится. Сидит она в серебряном платье, золотыми узорами затканном, жемчугом разукрашенном, камнями самоцветными обсыпанном.

А удалые витязи, храбрые рыцари, принцы, королевичи, князья и царевичи в сторонке на конях сидят, дивуются-любуются, и каждый готов за нее в огонь и в полымя.

А музыка играет-гремит, трубы трубят, знамена веют, разноцветные флаги вьются-развеваются.

Выезжают герольды, глашатаи, в трубы трубят, царскую волю вещают.

– Эй, вы, гой еси удалые витязи, славные рыцари благородные! Кто желает, выходи на бой за прекрасную царевну Альмару, утеху сердечную!

Затрубили герольды в первый раз, выехал славный витязь Ашур-Тур, Аксайский князь. Черный конь под ним словно буря косматая и вьет, и метет, по земле расстилается; из ноздрей пламя бьет, из ушей дым валит.

Вьются перья красные, словно пламя огненное, на черном высоком шишаке князя Аксайского, блестят его латы железные, седая борода вихрем разметалась, черные очи, словно угли, горят и жгут.

– Эй! – кричит он зычным голосом и махает копьем. – Эй, кто хочет моей силы испытать-отведать, побиться за прекрасную царевну Альмару!

Но никто не отвечает на этот зов, все молчат, прижимаются. Только царь с царицей грустно переглянулись, сердце у них упало, замерло, чует оно беду неминуемую. Выехал на битву злой колдун-чернокнижник, выехал биться за их дочку милую, за свет Альмару прекрасную.

И дочка смутилась, сидит ни жива ни мертва.

Вдруг затрубили трубы кованые, выезжает из дальних рядов молодой князь Максютский, свет Елизар Альманзарыч. Белый кафтан на нем серебром блестит. Белый конь под ним гордо идет, прижимается; весь обвешан он цацами золотыми и гремит, и звенит колокольцами серебряными. А сам князь, словно ясный месяц, светит, улыбается. Золотые кудри по плечам выются. Алая шапочка с белым пером набекрень перекошена. И сидит он молодцом, в правой руке держит копьё булатное, в левой руке – крепкий кованый щит.

Побледнела, покраснела Альмара-душа, чуть не плачет; оглянулась она на отца, и хочется сказать ей:

– Родитель милый, отесинька родненький! не вели ты им биться, не хочу я чужой гибели за свою красоту нежеланную.

Но трубят трубы кованые. И скачет, летит конь Ашура-Тура Аксайского, а белый конь Елизара Альманзарыча на месте стоит, уши приложил и бьет копытом, сторонится.

Словно вихорь, налетел колдун на князя, – так что белый конь нагнулся. Разогнал Ашур-Тур Аксайский копьё булатное и ударил им. Но закрылся князь щитом крепким, и прямо в щит угодило копьё. Расколосся щит – не выдержал. Ашур-Тур Аксайский пронесся мимо, и ударился конь о дощатый забор.

Пошатнулся колдун, побагровел, потемнел, ударил он со злобой вороного коня тяжелой булавой, и конь расвирепел, распалился как бешеный, метнулся он на белого коня Елизара, и не выдержал белый конь: грянулся оземь, и вместе с ним полетел Елизар.

Но не успел долететь до земли, как перышко, вскочил он на ноги, обернулся он в пол-оборота, а Тур Аксайский закружил, закрутил и прямо налетел на копьё Елизар Альманзарыча.

Зацепило копьё панцирь колдуна и высоко к небу взметнуло Ашура-Тура Аксайского. Взлетел колдун и со свистом брякнулся о сыру землю, так что пыль столбом пошла и все витязи ахнули.

Повели Елизара Альманзарыча к трону царскому. Поднялась со стульчика Альмара прекрасная, поднялась краше солнца красного, поднялась, зарделась, словно маков цвет. На одно колено перед ней опустился Елизар, и повязала она ему на плечо серебряный шарф, а сама задрожала вся, обернулась, стрелой бросилась на грудь к отесиньке милому.

А трубы гудят, играют бубны, литавры гремят, звенят; барабаны заморские дробью рассыпаются.

И все гости, короли и князья, витязи удалые и рыцари храбрые встали с своих мест, кричат, руки подняли.

– Да здравствует Елизар, князь Максютский, и Альмара прекрасная!..

А слуги, кравчие несут уж, заготовили стопы меду столетнего, несут кубки шипучих, заморских вин...

А Елизар и Альмара подле царя Альбазара стоят.

У обоих радость в сердцах ключом бьет и пенится. У обоих очи горят-светятся, и не могут они их друг от друга отвести.

И пошли пиры да потехи. Пируют гости и день, и два, и целую неделю, жениха с невестой чествуют, а жених с невестой, как голубки сизые, воркуют и милуются.

Прошла неделя, словно день пролетел, и через три дня уже свадьба назначена. Примеривает Альмара платье подвенечное, самоцветными камнями разубранное, и в этом платье горит ее краса и краше самоцветных камней Елизару Максютскому кажется. Настал канун свадьбы, – все гости ждут, собираются, к венчальному пиру приготавливаются. А на кухне сотня-другая

поваров стряпают, готовят великий пир на весь честной мир. А кравчие царские выкатывают, готовят бочки с винами заморскими, с медами ставленными.

Да, видно, в недобрый час свадьба началась. С вечера непогодушка разыгралась. Черные тучи понашли, надвинулись, покрыли небо ясное. Злые вихри налетели – все рвут и метут. Заблестели, засверкали частые молнии. Все небо словно огнем белым и блеснит, и горит. И ударила молния в старый дуб, что стоял на царском дворе, изломала, исщепала старый дуб. А другая молния ударила в царскую рощу, и запылала вся роща, словно осенний лист. Выскочили гости на широкое крыльцо, ахают, дивуются, а царевны и королевны в теремки попрятались, уткнули головки в перины пуховые, молятся Перуну: пронеси, грозный бог, гром и бури бурливые, угаси свой огонь, утиши перуны громовые.

Выбежала и Альмара-душа со своим женихом. Жаль ей было старой отцовской рощи. С ужасом смотрит она, как горят липы столетние, дубы вековые, а Елизар зовет ее: пойдём, поедём, поглядим ближе – взойдём на вышку высокую!

И послушалась его Альмара-душа; пошли они по крыльчикам, переходчикам, а буря лютая рвет и метет. Сорвала она платочек с головы царевны Альмары. Засмеялась она и бойко побежала вперед. Сорвала буря лютая, закрутила, унесла теплую епанечку с белоснежных плеч Альмары-души. Засмеялись оба и еще бойчей побежали вперед. Обхватил, укрыл Елизар своей епанчей дорогую невесту свою. Прижалась она к его сердцу горячему; что мне бури, что мне громы, думает, ты мне свет и жизнь!

Взбежали они на вышку, – буря рвет и метет, с резвых ног валит; перед ними целое море огня, над ними огненные тучи, словно змеи, летят, дышат огнем и пылом, вспыхивают молниями горячими, гремят громами гремучими. И вдруг закрутила, загудела буря – налетела вихрем-вьюном, налетела страшная туча, завилась, захватила и унесла Елизара...

Помертвела, вскрикнула Альмара-душа, и на жалобный крик разразилась туча страшным хохотом, и узнала она в этом хохоте голос злого колдуна Ашура-Тура Аксайского. Разразился гром, прогремел, раскатился по полям, по лесам, и замолк страшный хохот.

Упала Альмара-душа на колени, бьется о грязную землю, как голубка трепещется, стонет, плачет, разливается.

Собрались, сбежались гости дорогие. Прибежал и отесинька милый, упал он подле дочки ненаглядной, упал на колени, поднимает ее, спрашивает, а сам побледнел как смерть, белее бороды своей, белее снега белого.

Встрепенулись, зашумели гости, храбрые витязи и рыцари благородные, кричат, зовут слуг своих верных.

– Гой вы, слуги верные! седлайте вы скорей ретивых коней, готовьте оружие крепкое!

Через час, собравшись, выехали, скачут, летят прямо к замку высокому, к замку Ашура-Тура Аксайского, что стоит наверху, на круче крутой. Весь тучами черными замок закутался, и бьются из туч молнии, во все стороны мечутся, а громы гремят, рассыпаются. Ни подъехать, ни подступить, сила не берет, руки опускаются, а из туч злой хохот гремит, расстилается, хохот злого колдуна Ашура-Тура Аксайского.

Вдруг загремел, загудел над замком, словно гром перекатный, голос Ашура-Тура Аксайского.

– Гой вы, витязи храбрые! Молодцы удалые! Рыцари благородные! Нет у вас силы Елизара, князя Максютского, у меня отнять. Идите с миром отколь пришли. Несите вы Альмаре-душе сказ-наказ: коли любит она жениха своего, пусть придет за ним в крепкий замок мой. Не изымет сила, изымет простота, доброта. А еще скажите ей, коли любит она жениха своего, пусть одна придет, не страшась, не боясь ни грому, ни молнии, ни темной ночи, ни бури злой.

Поехали витязи, опустив удалы головы, поехали вспять, повезли недобрую весть.

Услыхала Альмара злой наказ: взметнулась, встрепенулась вся, давай собираться скорей.

И снарядилась, пошла Альмара-душа; вывели ее батюшка с матушкой родимые; вывели, проводили в дорожный путь из терема; простились-прослезились, сами ей вслед глядят.

Идет по дороге Альмара-душа. Ночка темная, растемная. Злая буря ревмя ревет, с резвых ног валит, а злой дождик бьет-сечет. Гремят громы грозные, сверкают молнии, стрелы огневые.

Бодро идет Альмара-душа, бодро идет, не глядит ни на что. Одна у ней мысль, думка горячая: как она высвободит друга милого, Елизара ненаглядного. Идет и час и два, идет целую ночь. К утру зорька загорелася. Белый свет по низам ползет, по лугам расстилается. Подошла Альмара-душа к круче-горе крутой и пошла по дорожкам змеиным.

Скользят ножки по мокрым камням, оступаются, бегут-шумят потоки с горы, с резвых ног валят. Идет Альмара-душа, идет ни на что не глядит. Одна у ней в сердце думка горячая: освобожу я жениха своего, Елизара ненаглядного!

Стала подходить к вершине горы. Развернулась гора, раскуталась. Унесли тучи черные, и весь замок перед ней, как на ладонке, стал. Унесли громы, молнии, только вихорь рвет-гудит, с резвых ног валит.

Обошла Альмара весь замок три раза, обошла, перед воротами остановилась, а из-под ворот лезет-ползет страшный, прешащенный змей-горыныч злой. На голове у него острый гребень торчит, изо рта у него пламя летит. Злые глаза блестят и горят, на спине крылья нетопырьи трепещутся, а хвост как змея вьется, ползет, извивается.

Протянул он к ней лапу когтистую, протянул, растопырил ее.

– Стой! – говорит, – красна девица. Стой, душа Альмара прекрасная! За пропуск выкуп дают. Даром на сем свете ничего не делают.

– Что же я тебе дам? – говорит Альмара-душа, – нет со мной казны-мошны. Хочешь взять монисто мое из зерна бурмицкого? Хочешь взять грецку перевязь?

– Не надо монисто и перевязи. Береги для себя, а мне дай твою девичью красу, русую косу: годится малым деткам на подстильшек.

Схватила Альмара за головку свою, схватила, ужаснулась. А из-под перевязи руса коса скатилась, руса коса, девичья краса, – по земле коса расстилается. Любил эту косу Елизар, ненаглядный свет, целовал, миловал, каждый день расплетал, заплетал, приговаривал: «Расти ты, коса милой девушки, расти ей на утеху сердечную!»

И подумала Альмара-душа: даю я, мол, выкуп дорогой за дорогого друга сердечного. Подумала, посмотрела на косу в последний раз, поцеловала она ее, промолвила:

«Прощай, моя краса девичья, милей мне тебя мой ненаглядный друг: душу отдам за него, не только мою косыньку!»

– На! – говорит змею-горынычу, – бери мою косу. Не жаль мне ее.

А змей-горыныч не заставил ждать-повторять: вскочил, подскочил, хамкнул зубами и отгрыз-откусил косу девичью.

Встряхнула волосами Альмара-душа, встряхнула, улыбнулась: «Легко и светло у меня на душе, – подумала она, – ближе я к другу ненаглядному».

Толкнул змей-горыныч ворота крепкие; широко ворота растворились.

– Ну, ступай теперь, – кричит он, – девка стриженная, в замок Ашура-Тура Аксайского! выручай жениха ненаглядного!

Вступила-вошла Альмара-душа в проходы с переходцами. Высокие стены со всех сторон поднимаются, чуть видно вверху небо серое. Ползут у ней под ногами змеи лютые. Ползут, шипят, приговаривают:

– Отогрей нас, красная девица, отогрей на белой груди, дай поспать, полежать, теплой крови пососать!

Идет Альмара-душа, не глядит на них; идет длинным коридором и глубже, все глубже коридор в сырую землю опускается.

Сидят по сторонам на камнях больших жабы серые, глазищами зелеными ворочают и горят глазища, в темноте светятся. Пищат, порхают злые мыши летучие; вьются около Альмары, вцепиться хотят.

Остановилась Альмара-душа. Сердце у ней в белой груди трепещется. Слезы к сердцу подступают, белу грудь давят, за горло хватают, жмут. Остановилась Альмара, вскрикнула громким голосом:

– Гой ты! Где ты, мой жених дорогой! Где ты, свет души моей, Елизар Альманзарыч?

И слышит вдруг глубоко под землей, в сторонке, дал ответ Елизар Альманзарыч.

– Здесь я, моя голубка-душа, здесь я, моя Альмара ненаглядная!

Встрепенулось все сердце, всколыхнулась душа. Дух захватило в груди, потемнело в очах, помутилось, слезы из глаз в три ручья хлынули.

Бросилась Альмара на голос, но вдруг перед ней стала-выросла высокая стена, сырая, почерневшая, а над ней раздался голос злой Ашура-Тура Аксайского.

– погоди, Альмара-душа! Не уйдет от тебя твой Елизар. Коли пришла ты за ним в крепкий замок мой, то выкупи его из неволи злой, отдай мне, Ашуру, твою красу девичью, отдай розы, щечки румяные, белизну бела личика, алые губки, зубки жемчужные, отдай ясные звездочки, светлые глазыньки!

Ужаснулась Альмара-душа, покачнувшись, о стену скользкую ухватилась. Слезы у ней в три ручья из ясных глазок покатались.

– Ой, ты, злой колдун Тур, Аксайский князь! Как же я отдам тебе девичью красу мою? Та краса моя заповедная, жениху моему полюбилась, – не моя она, а моего друга ненаглядного.

Отвечает ей Ашур-Тур, Аксайский князь:

– Как хочешь, красавица, царевна белолицая, отдашь красу, – друга спасешь, не отдашь, без друга домой пойдешь. Не буду я внакладе, останется мне твой Елизар Альманзарыч, моих змейков-сосунков – своей кровью поить-кормить. Посмотри на него, полюбуйся, девица-красавица!

И вдруг тихо-тихо стенка перед Альмарой расступилась. И видит Альмара: в темном подземелье, за решетками железными, сидит ее жених, крепкими цепями прикованный, сидит белей стены каменной. А на груди у него сосунки играют, ползают, копошатся, белую грудь грызут, сосут, алые струйки по белой груди катятся.

Потемнел белый свет у Альмары в очах, слезки застыли на глазах. Сердце в груди остановилось, – обмерла, упала Альмара-душа. Час и два пролежала она, себя не помнючи: очнулась, оглянулась, заплакала. Заплакавши, взмолилась:

– Ой! ты, гой еси, злой колдун Ашур-Тур, Аксайский князь! Ты возьми скорей мою красу заветную, – отдай мне моего друга ненаглядного. Не за мою красу девичью полюбил меня Елизар Альманзарыч. Что краса красной девицы? Сельный цвет пустой. Расцветет она алым цветиком, отцветет-пропадет, словно яблонный цветочек осыплется.

И засвистел Ашур-Тур громким посвистом. Набежали-налетели злые карлы, встали вокруг Альмары-души злые карлы черные. Впереди них самый злой – хромой, горбатый, с седой бородой. Поднес он Альмаре маленький горшечек полный воды.

– Смотри, – говорит, – в воду, будем твою красоту снимать! Взглянула в воду Альмара-душа – и миг сбежали с щек розы алые: все личико у ней пожелтело, головка закружилась. Отшатнулась она, ухватилась за белую грудь, – а злой карло говорит, приказывает:

– Смотри! смотри, красна девица, не вся еще снята твоя красота девичья.

Встряхнула волосами Альмара, снова начала смотреть. По личику побежали морщинки, складочки. Все личико посохло, съежилось, – побежала дрожь по рукам, ногам, по всем суставам, по белой груди, и вся белая грудь посохла, ввалилась. Побелели русы волосы, почернели белы зубки, в воду покатались. Не стало сил у Альмары-души: отшатнулась, отвернулась она

от горшечка, вся задрожала, затрепеталась, а злой карло пристает к ней, подступает, сверкает очами.

– Смотри! смотри! – говорит, – красна девица, не вся еще снята твоя краса девичья.

Остались у тебя еще глазыньки, что светят, блестят жизнью сердечною.

Отвернулась Альмара-душа, за седую головку ухватилась, отвернулась, заплакала.

– Ой, ты, гой еси, злой колдун! – взмолилась она, – злой колдун Тур, Аксайский князь, обманул ты меня, злой колдун; взял ты вместе с девичьей красой мою молодость! Оставь же ты мне, колдун, мои глазки ясные. По ним узнает меня мой ненаглядный друг, Елизар Альманзарыч.

Отвечает Ашур-Тур, Аксайский князь:

– Хорошо, красна девица, оставлю я тебе твои глазыньки. Не узнает тебя по ним твой ненаглядный друг, не узнает старуху старую.

И засвистел, загремел Ашур-Тур, Аксайский князь. Разбежались карлы черные. Расступились стены высокие, разомкнулись замки, затворы крепкие, распались цепи железные. И предстал перед Альмарой-душой князь Елизар Альманзарыч.

На дворе белый день блестит, светит ярко солнышко, у Альмары-души туман в очех.

Видит не видит она, идет, шатается бледная тень, и эта тень – ее ненаглядный друг, светел свет Елизар Альманзарыч.

Горе ждало сердце, обессилило: упала Альмара-душа, упала на колени. Хочет вымолвить:

– Ненаглядный мой, счастье мое! Взгляни ты на меня, старую старуху, взгляни на свою Альмару, друга верного! Отдала я за тебя красу-молодость, за твою свободу желанную. Взгляни ты на меня, силы мои явятся, – в хилом сердце заиграет кровь горячая, встрепенется сердце, оживет любовью, радостью!

Поглядел Елизар Альманзарович, – поглядел на старуху старую, ничего не сказал.

«О чем, – подумал, – бедная старушка убивается, горько плачет, как река журчит, и выйду ли я на свободу из замка крепкого, увижу ли я мою звездочку, увижу ли свет-Альмару, дорогую мою красну девицу?» Идет он по переходцам, узким коридорчикам.

Идет за Елизаром Альмара-душа, отгоняет злых летучих мышей, идет, от злого горя шатается.

Вышел за ворота замка Елизар и оглянулся кругом. Далеко с горы крутой даль раскинулась, зеленеют леса, луга зеленые, ходят, гуляют по ним тени, от облачков. Бегут серебряные змейки – речки серебряные, а на самом краю стоят, синеют горы высокие. Глядит Елизар на полуденну сторону. Там далеко, чуть видно, виднеется земля Альбазара-царя.

– Там, думается, там ждет меня моя звездочка ясная, там моя радость Альмара, утеха сердечная.

Сладко, ласково сердце встрепенулося. По душе истома прошла, голова закружилась. Потянулся Елизар, тихо на травку опустился, присел. Опустилась рядом с ним Альмара-душа.

Оглянулся Елизар, посмотрел на нее, видит, горько плачет старушка старая.

«О чем, – думает, – старушка разливается: кругом все светло и радостно, солнце светит и птички порхают, поют. Красен, светел божий мир радостный!»

– О чем, спрашивает, ты, старушка старая, убиваешься? Поведай мне твое горе, – авось вместе размыкаем.

Ничего Альмара-душа не ответила. Отняла она от глаз ручки старые: все морщинками ручки исчерчены; отняла, смотрит на Елизара прямо в глаза, ничего не видит. Бегут слезки, катятся из ясных глазок в три ручья, катятся, застилают все туманным пологом.

Вспомнил Елизар опять о своей Альмаре-душе, потянуло сердце вдаль. Тихо поднялся он с лужаечки и пошел.

Два часа шли, до первого поворота дошли. Ослаб, изнемог Елизар Альманзарыч, на камень придорожный опустился, присел, на плечо Альмары голову склонил. Поднесла ему к

губам Альмара фляжку крепкого вина заморского, вина целебного, что взяла с собой из дому, и дала ему выпить три глотка.

Хмельное вино в голову ударило, окреп Елизар Альманзарыч. Встали, дальше пошли. Шли, шли и наконец с горы крутой спустились, а солнце уже высоко стоит, с высоты небесной греет и палит. По лугам порхают бабочки легкокрылые, жужжат пчелки работницы, высоко-высоко в небе поет жаворонок, поет, щебечет, заливается.

Подошли к леску-рощице, на травку-муравку в тень-прохлад опустились.

– Не знаю, – говорит Елизар Альманзарыч, – дойду ли я завтра до дому? Спасибо тебе, старушка старая, помогла ты мне дойти, молодцу. Довела ты меня до царства Альбазара царя Берендеича, награжу я тебя за это золотом-серебром. Там в дому ждет меня невеста моя, Альмара-душа. Чай плачет, тоскует обо мне, голубка ненаглядная!..

Ничего Альмара-душа не ответила. Слово тисками железными сердце у нее сжалось. Пролетели мимо нее две ласточки-касатки сизокрылые. К тем ласточкам-касаткам с своим словом сердечным Альмара обратилась:

– Ласточки, вольные птички свободные! В вольном воздухе день-деньской вы купаетесь. Мила вам свобода, но милей ее – любовь сердечная: без нее и свобода хуже неволи злой. Отдала я любовь, утеху мою, любовь друга сердечного, за его свободу желанную. Выкупила я тою любовью моего друга из неволи злой. Видно, правду говорят люди: «Любовью свобода покупается...»

И вдруг замолкла бабушка, посмотрела сквозь окошечки, улыбнулась.

– Что же, бабушка, ты остановилась? Что же дальше было?.. Он узнал Альмару свою милую... Бедная Альмара! Ну, бабушка, рассказывай дальше, пожалуйста, рассказывай скорей.

– Что же я тебе буду рассказывать?.. Дальше все то же было... Тебе жаль Елизара Альманзарыча, жаль Альмару-душу, жаль все доброе, хорошее, – и не жаль все злое, дурное, не жаль Ашура-Тура Аксайского... Ну, значит, сказка и достигла цели! На это она годна. Этим она и красна и сильна. – Ведет она к добру, сеет отвращение к злу. Разве тебе этого мало?..

Чудный мальчик

Говорят, что люди прежде не смеялись оттого, что на земле тогда ничего смешного не было. Другие говорят, что сами люди были прежде умнее и понимали, что ни над чем не надо смеяться, потому что сама природа никогда ни над чем не смеется и все в ней, точно так же, как и в человеке, который не больше, как только частица природы, полно глубокого и великого смысла. А кто смеется над чем бы то ни было, тот, значит, не понимает этого смысла и видит только то, что лежит сверху у него перед глазами.

Но вот раз, в одном большом городе, случилась очень странная вещь. В ясный день вдруг, неизвестно откуда, посреди самой большой площади и даже не прямо на ней, а над ней, просто на воздухе, появился хорошенький мальчик, и как только увидели его люди, так все разом, как будто сговорились, захохотали; и нельзя было не захохотать, потому что у мальчика было такое лицо, на которое нельзя было смотреть без смеху, а между тем это лицо было очень хорошенькое. У мальчика были отличные черные глазки, но такие лукавые, так они плутовски бегали из стороны в сторону, что каждого так и подмывало выкинуть какую-нибудь веселую штучку. Рот мальчика улыбался самым предательским образом, на щеках выступали веселые ямки, а маленький носик при этом так нахально подпрыгивал кверху, что решительно все помиралось со смеху, и старый, и малый.

Но ведь и смеху приходит точно так же конец, как и горю. Нахохотавшись вдоволь, до слез и до колотья в боках, люди уже было принялись хладнокровно рассматривать чудного мальчика. Но тут он снял с головы шапочку, в виде горшочка, и вдруг прямо из головы у него брызнул фонтан самых блестящих искр. Эти искры полетели вверх, направо, налево, во все стороны. Они падали на деревья, на камни, на ослов, лошадей, коров, свиней, людей – везде. И куда бы ни упала искорка, люди начинали хохотать неистово. Падала искра на гнилой забор – люди смеялись, падала на кривое дерево – смеялись, падала на покачнувшуюся избушку – смеялись, падала на горбатого старичка – смеялись, на хромую старушку – смеялись, на гнилую воду – смеялись, на грязную дорогу – смеялись, летели искры в небо – и над небом люди смеялись. Так что, наконец, ничего не осталось на земле и на небе, над чем бы люди не посмеялись. Все было осмеяно. Но Чудному мальчику этого было мало. Он не только сам бросал во все искры, но научил и людей делать то же. И вот с тех пор люди и ходят и смотрят: не блестит ли где искорка, или нельзя ли в кого-нибудь пустить искру. Ведь это так весело!

И вот в том самом большом городе, где явился Чудный мальчик, у царя была дочь-красавица и такая добрая, что весь народ любил ее и не мог на нее надивиться. Все звали ее: наша добрая, прекрасная царевна Меллина. Пробовал и в нее бросать свои искры Чудный мальчик, но искры не долетали до нее или падали у ее ног и гасли. А все-таки Меллина боялась, и сильно боялась, этих злых искр. Прежде она, бывало, оденется как ни попало, что под руку попадет или что подадут ей. Все, думает, будет хорошо, потому что сама хороша. А тут вдруг начала оглядываться и осматриваться, так что зеркало ее, которое до тех пор стояло одинокое, в пыли, теперь все просияло от радости. Все, что ни надевала она, все оглядывала, не разорвано ли где, нет ли пятнышка, да не будет ли сидеть на ней коробом. Была у царевны Меллины старая толстая кормилица Марфа, которая ее вскормила и вынянчила, и жила эта кормилица далеко от дворца, в самом грязном дрянном квартале, который звали Свиные Закутки. Когда она совсем вынянчила царевну, то царь позвал ее к себе и сказал:

– Ты теперь будешь жить всю остальную свою жизнь и со всеми своими детьми во дворце на покое. Я жалую тебя с моего царского стола и плеча. Дарю тебе лисью шубу, багрянцем крытую, две нитки зерна бурмицкого и три золотые гривны. Живи себе с миром. – Но толстая Марфа поклонилась царю в ноги и говорит:

– Спасибо тебе, царь-государь, за слово ласковое, за жалованье царское; охотой пошла я в твои палаты твою царскую дочь кормить и пестовать, охотой жила я тут восемь лет, охотой пойду я теперь на волю в мою убогую хижину. Можешь ты меня, царь-государь, казнить и миловать, на то есть твоя царская власть и воля. Но коли по моему глупому желанию ты поступить изволишь, то пусти ты меня в мой домишко. В нем умер мой старый батюшка, в нем скончалась моя родная матушка, в нем мы жили любовно и простились навек с моим мужем, что ушел на войну в твое царское войско и убит на сраженьи. И еще прошу у тебя милости, – и снова поклонилась старая Марфа царю земным поклоном. – Не жалуй ты меня твоей царской казней, не дари ты мне шубу, багрянцем крытую, не дари ты меня бурмицким зерном. Жила я в палатах твоих, служила тебе верную службу, не корыстовалась, вскормила, вспоила я, вынянчила ненаглядную мою звездочку, царевну мою прекрасную, кормила, растила я ее и все думала: созревай, наливайся, мое зернышко, ласточка моя сизокрылая; вырастешь ты, зацветешь алым цветиком; тогда полюбуюсь я на тебя, моя царевна прекрасная, и скажу тебе слово правдивое: живи, царская дочь, любовно и праведно, пусть твое сердце будет полным-полно любовью да кротостью, печалью да жалостью ко всякому горю людскому, горю народному, горю великому. И если то желание мое совершится да сбудется, то не будет для меня выше и краше той великой радости.

Посмотрел царь на мамку-кормилицу, посмотрел из-под седых бровей взглядом милостивым, ласковым и сказал ей:

– Спасибо тебе, слуга верная, усердная, что умела служить от сердца чистого, по правде, по совести. Будь все по твоему желанию, не жалею я тебе подарка царского, а дарю я тебя подарком по сердцу: не царь тебе дарит его, а отец дарит, за свою дочь единородную, на память по нем добрую.

И встал старый царь, снял со своей груди ладонку, в которой был зашит великий секрет – запрет от ночного погрому и разорения, от лютой смерти безвременной, от лихого злодея-ворога.

– Завещал мне эту ладонку мой родитель, покойный царь. Передаю ее тебе, моя верная слуга, носи ее, меня поминаючи, да спасет она тебя от всякой лихой беды!

Упала на колени старая мамка-кормилица, упала и заплакала. Вся душа ее от великого счастья перевернулася. Все сердце ее выграло, запрыгало, и ничего от радости не могла она вымолвить.

Крепко любила царевна мамку свою и рассталась с нею не без горьких слез. Она часто видалась с ней, и чем больше росла, тем крепче становилась эта любовь; потому что царевна сердцем понимала, что за добрая, чистая душа была у простой ее мамки.

И вдруг эта добрая, любимая и любящая мамка сильно захворала и только просит и молит, как бы повидать ей перед концом ее царевну родимую: «взгляну я, – говорит, – хоть одним глазком, на мою ненаглядную, взгляну в последний раз и умру, ее благословляючи!»

Встрепенулась царевна. Одеваться скорей да бежать к моей родимой старой мамке! Но только что взялась за дверную ручку, как вдруг вспомнила, что теперь уже все стало не то. Что нельзя теперь ей идти, как прежде было, попросту, что осмеют ее теперь, ошарашат двадцать раз, прежде чем дойдет она до Свиных Закуток. Бросилась царевна наряжаться, но и тут беда: что ни наденет, все не так: то ей кажется слишком парадно, и все скажут: «Вон, смотрите, как вырядилась царевна, это она идет к своей умирающей мамке!» То ей кажется, что все на ней и бедно, и гадко, так что все на нее уставятся, как только она выглянет на улицу, и все закричат: «Вон, смотрите, царская дочь какой шлюхой ходит!» Все она у себя перерыла, все перебрала, то наденет, то опять сбросит, вся измучилась, а часы летят себе, не дожидаются, и уже вечер на дворе, темный осенний вечер, и снег с дождем в окна колотит.

– Ах! я несчастная! – плачет царевна, – неужели я не увижу уж тебя, моя добрая, дорогая мама. Нет, нет, я должна тебя видеть и помочь тебе! Все вздор! Будь, что будет – пойду в чем

есть; и, накинув шубейку, бросилась она к двери. Но прямо против нее на той стороне улицы мальчишки прыгали по лужам, и как только отворила она дверь, так все они разом завизжали и захохотали, точно увидели самого Чудного мальчика.

Зажала царевна уши, бросилась как угорелая, назад в свой терем.

– Что делать, ах, что делать! – схватилась она обеими руками за головку. А на дворе уже ночь темная, и вьюга так и злится. – Мама, дорогая моя, – стонет царевна, – умрешь ты, не выдав своей дочки! Что же я буду делать, несчастная! – И ломая руки, упала она на перину пуховую, уткнулась головой в подушки и горько, горько зарыдала.

И вдруг слышит она, что кто-то дотронулся до ее плеча. Обернулась царевна и, при свете лампадки, видит она – стоит перед ней маленькая старая старушка. Прыгают у ней глазки, как свечи, косматая голова трясется, а беззубый рот и жует, и шамкает, и улыбается.

– Кто ты? – спрашивает в испуге царевна. А старушка хихикает.

– Ты колдунья? – спрашивает царевна, и в ужасе жметя к стене, прячется в подушки, и хочется ей кликнуть своих сенных девушек.

– Может быть, колдунья, может быть, вещунья, почем знать, а пришла я, – шамкает старуха, – помочь твоему горю, из злой беды выручить. – И царевна встрепенулась, даже страх прошел.

– Ты перенесешь меня, – говорит она, – к моей старой мамке, перенесешь сейчас же на крыльях ветра, на ковре самолете? Ведь это ты можешь сделать? Да!

– Хи-хи-хи! моя красавица, все я могу, только поспешишь – людей насмешишь, видишь ты какая прыткая. – Зачем нам по ночи летать, когда можно днем и пешком дойти. Поживет твоя мамка и до утра, не умрет, до самых полден. А ты лучше скажи, моя ясочка, чем это ты собралась твою мамку от злой болести вылечить, от смерти лютой освободить, али так просто своими ясными глазыньками?

Схватила себя царевна за голову, вся покраснела. Тут только вспомнила она, что вместо того, чтобы подумать, чем своей мамке помочь, она только и заботилась о том, как бы не посмеялись над ней. Вскочила она, давай собираться к лекарю, какому-нибудь знахарю. А старушонка все хихикает и головой трясет.

– Не надо, моя радость, не надо, моя красавица, чего суетишься, все у меня есть, все, что надо тебе; а к знахарю не ходи, никакой знахарь не поможет. И старуха вытащила из-за пазухи сткляночку. Вот для твоей мамки зелье лекарственное, снадобье целительное, выпьет она его, вся болезнь ее пройдет.

– Дай, дай! – говорит царевна и протягивает руки, а старуха хихикает и не дает стклянки.

– погоди, красавица, царевна прекрасная, не все вдруг.

– Дай, – просит царевна, – я тебе все отдам, все, чего хочешь.

– Ничего мне не надо, все у меня есть. На тебе сткляницу, – сказала старуха и отдала царевне лекарство. – Только вот что, моя радость, душа ты моя прекрасная, лекарство это не простое, а волшебное, волшебное заговоренное, надо его давать умеючи, относить с почетом, да с оглядкою. Пойди ты с ним завтра утром, как только на башне сторожевой пробьет царский колокол, пойдешь, на восток поклонись, и неси ты его бережно, к сердечку своему прижимаючи. Слышишь ли, моя красавица?

– Слышу, – говорит царевна.

– Ну, и пойдешь ты, приоденешься, не в простое платье, а в заморское, – а я тебе и платье принесла. И без этого платья лучше и не ходи. Никакое лекарство не поможет.

И старуха вынула из-под мышки узелок, развязала его.

– Вот тебе, моя красавица, перво-наперво шапочка; шапочка парадная, нарядная. – И старуха вытащила большой красный колпак, весь он был испачканный, весь обшит бубенчиками, а на самой макушке был пришит целый пук кудели нечесаной. Всплеснула ручками царевна и побледнела, говорит:

– Как, я должна идти в этом колпаке!?

– Должна, моя радость, должна, свет мой писанный, так уж по обычаю следует. А вот тебе к нему и душегреечка.

И старуха опять вытащила из узла коротенький, нагольный полушубочек, издерганный, засаленный, вывороченный шерстью кверху, и весь полушубочек был обшит волчьими хвостами.

– Вот тебе, мое сокровище; надень, прирядись, моя радостная, будешь красавица писанная, рисованная; наденешь, пойдешь, все на тебя люди будут дивиться да ахать. Покраснела царевна, ножкой топнула:

– Как, – говорит, – ты смеешь мне, царской дочери, такой наряд шутовской предлагать!

– У! у! моя красавица! Не сердись, моя родная. Хочешь – надевай, хочешь – нет, твоя воля: наденешь – мамку свою спасешь, не наденешь – свою царскую спесь спасешь; что дороже тебе, то и выбирай; а я тебе ничего не предлагаю, я говорю тебе, что надо сделать.

Стоит царевна, закусив губку, то ее в жар, то в озноб бросает. И стыдно ей, и гадко, и жалко мамки любимой, и себя жалко, и если б могла она убить старуху, непременно убила бы ее; а старуха все хихикает.

– Не забудь только, моя красавица, – и старуха нагнулась ей к уху – завтра утром будет великий смотр: соберутся тебя смотреть, сватать женихи со всех земель, из заморских стран. Приедет также и твой возлюбленный царевич Алексей. Вот тебе и все, моя радость белая! А теперь, прощай, меня не забывай и лихом не поминай! – И старуха вдруг исчезла, пропала, как будто и вовсе ее не бывало.

Стоит царевна ни жива, ни мертва, белые ручки ломает, из глаз слезы катятся, ротик открыт, зубы стиснуты. – И чувствует она чутким сердцем, что ей надо идти. Нельзя ей бросить свою мамку, нельзя ее добрую, честную, отдать смерти неминуемой. Нельзя! И вспоминает она, как всегда была эта мамка до нее добра да ласкова, как не спала она с ней по целым ночам. Как, раз, ходила она в метель и вьюгу за двадцать верст, только за тем, что царевне захотелось посмотреть, каким цветом волчье лыко цветет. – «Пойду я к тебе, моя добрая мамка, пойду я в шутовском наряде». – Но как подошла она к этому наряду, как посмотрела на него да вспомнила, что путь ей до Свиных Закуток лежит, задрожало ее сердце, замерло, все туманом в глазах у нее подернуло, белее полотна белого, словно мертвая, она как сноп на постелю повалилась. Долго лежала она, себя не помня и ничего не чувствуя, и наконец очнулася, кругом осмотрелась. «Где я, что со мной?» – думает.

На столе перед ней стеклянка стоит, на скамье перед ней дурацкий наряд разостлан лежит, а в окно чуть-чуть светит, белый день занимается. Встала царевна, словно охмелела от хмельного вина, подошла она шатаючись к окну, подошла, села у него, на сердце у нее словно тяжелый камень лежит, в голове у нее словно холодный свинец налит. А над окном уже проснулася, нос очищает любимая птица царевны – на шестке сидит ловчий Сокол, серебряными путцами прикованный, сидит, на все гордо озирается. Проходит целый час. Смотрит царевна в окно и не видит ничего, и ничего не думает. Чувствует только, как сдавило ей всю ее грудь белую, в голове, словно колесо, вертится и прыгает. Прошел еще час, показалось солнце красное, а царевна все сидит, как во сне каком. Заскрипела дверь, вошла в терем небольшая собака, старая престарая, Вовком звали эту собаку простую, дворовую, и царевна каждый день кормила, поила ее. Не мог уж он, Вовок, лаять от старости, а только хрипел и тьякал. И это тьяканье понимала царевна Меллина: в нем она слова человечьи слышала. Вошел Вовок, визжит, к царевне ласкается:

– Что, – говорит, – царевна, ты рано поднялась, о чем задумалась, задумавшись, пригориюнилась?

– Как не горевать мне, Вовок, когда горе мне большое приключилося. – И рассказывает царевна Вовку свою беду тяжелую.

– Что ж, – говорит Вовок, – ты поди! Это ничего, что над тобой будут смеяться. Теперь над всеми смеются, а когда все над всеми смеются, тогда никому ни завидно, ни обидно. Я тебе про себя расскажу. Я стар, сед и кудлат. Шерсть на мне торчит вихрами, хвост и уши мои давно обрублены. Все надо мной смеются, кроме тебя, моя царевна добрая. Но никого я не виню, ни на кого не жалуюсь. Чем же виноваты люди, что я такой смешной уродился? Пусть смеются! Веселый смех лучше горького горя. Они смеются, а мне весело, значит, я не даром на свете живу.

Слушает царевна, слушает, думает, и как будто ей легче становится от простых слов доброго Вовка.

– Слушай, царевна, – сказал вдруг ловчий Сокол, – был я вольной птицей, летал по поднебесью, плавал я, купался в чистом воздухе, носился гордо, стрелой летал над лугами зелеными, над лесами высокими. Изловили меня злые люди; изловили, связали, насмеялись над вольной птицей. Надели они на меня шутовский наряд, шапку с перьями, приковали меня крепко-накрепко цепью серебряной. Что мне за дело, что эта цепь серебряная! Неволи не выкупишь ни золотом, ни серебром. Пусть надо мной, вольной птицей, издеваются, потешаются, я знаю, что я лучше их, не унижат они во мне честь соколиную, честь благородную, и в злой неволе все я буду птица вольная, честная, – и злая издевка не запятнает моего сердца чистого, сердца гордого, соколиного...

Обернулась царевна к Соколу, слушает его, не верит ушам. Вся она встрепенулася, вскочила, подошла к Соколу, отомкнула его путы серебряные, взяла его на белую руку. Крепко за белую ручку острыми когтями ухватился Сокол. Распахнула царевна окно косящато.

– Лети, мой Сокол, лети, мой хороший, на все четыре стороны, и спасибо тебе, что на прощанье ты меня уму-разуму выучил! – Вспорхнул Сокол, полетел с громким криком на все четыре стороны, себя от радости не помнючи. А царевна вся словно переродилася. Свалился у ней камень с белой груди. Все для ней светло и радостно.

– Я иду к тебе, – думает, – мамка моя добрая, пусть надо мной смеются, издеваются. Я теперь птица вольная, есть во мне сердце чистое, чистое, свободное, соколиное. Никто его не вынет, никто не коснется его. Выше оно всех насмешек, издевок людских.

И царевна подошла к шутовскому наряду, подошла, усмехнулася и, сбросив с себя царское платье, стала тот наряд примерять, на себя надевать.

Нарядилася царевна, посмотрела в зеркало, все на себе обдернула, оправила. В сердце у ней яркий день горит, от радостного чувства грудь колышется, на глазах светлые слезки блещут, словно ясные звездочки. Взяла она сткляницу в руки, взяла, к сердцу своему прижала ее. Потом легкой, твердой поступью пошла она из своей светлицы-терема. И как только взялася она за ручку дверную, пробил-прогудел с башни колокол, созывая на работу весь рабочий народ.

Вышла царевна на улицу. Кто только шел по улице, – увидав ее, останавливался: что за шутиха такая идет? Все на нее уставились. Мальчишки, как только ее завидели, так все от радости даже перевернулись. Ведь известно, что мальчишек пряниками не корми, дай только посмотреть какую-нибудь диковинку. И вот все они побежали за царевной, бегут толпой-гурьбой, впереди, позади, визжат, укают, а кто посмелей, тот и комком грязи в нее запустит или камешком: ведь и это очень весело. А царевна идет, усмехается; все светло в ней и радостно. Не слышит она ни гаму, ни хохоту, не видит она ни мальчишек, ни народу, что идет за ней, не слышит она земли под собой. Несет она к своей дорогой мамке с лекарством сткляницу, крепко к сердцу ее прижимаючи.

Надивился, нахохотался над царевной народ, мало-помалу каждый оставил ее, а она идет, все идет своим путем-дорогою, дошла до Свиных Закуток и чуть не бегом к избушке своей бедной мамки бросилась. Вбежала она в избушку, видит, лежит ее мамка без памяти. В три ручья у царевны слезы брызнули. Бросилась она к постели, приставила к губам мамки сткля-

ницу, и выпила мамка все зелье целебное, выпила, вздохнула глубоко, вздохнувши, опомнилась. Встала с постели, оглядела царевну, признала ее, к ней кинулась. Целует она ее, целует руки ее, глядит на нее, не насмотрится, только слезы застилают ее глаза старые, мешают смотреть.

– Дорогая моя, – говорит, – родная, ненаглядная, не чаяла, не гадала больше я видеть тебя, все мое сердце встосковалося по тебе, моя звездочка радостная. – И теперь только мамка разглядела-увидела, во что царевна наряжена. Всплеснула она руками, удивилась. Стала царевна ей все рассказывать, рассказала царевна, а мамка пригорюнилась.

– Вскормила-вспоила я тебя, – говорит она, – дитя мое милое, забыла я тебе одно указать: не бойся ты, не страшись ни хулы, ни людского говору, не бойся насмешки-издевки злой, а бойся ты своей совести, своего судьи сердечного, неподкупного!

А царевна свою милую мамку и слушает, и не слушает, все у ней в сердце от радости прыгает; словно на волнах великого счастья всю качает ее, убаюкивает, словно десять лет с белых плеч у нее свалилося, и стала она ребенком маленьким, так ей смеяться, играть и прыгать хочется. – Посидела она у мамки, с нею простилася, за ворота ее мамка вывела. А у ворот толпой стоит народ, втихомолку гудит-шушукает. Как только царевна из ворот показалася, все сняли шапки, упали ниц, до земли поклонились. – Узнал народ, зачем пришла царевна к мамке своей больной, немощной, узнал, зачем она в шутовской наряд нарядилася: ведь от народа ничего не скроется; вспомнил народ все добро, что царевна ему делала, и ему жаль и досадно стало на себя.

А царевна пошла назад своим путем-дорогою, и вся толпа за ней без шапок молча идет. Не успела царевна и полдороги пройти, как летят, скачут вершники-приспешники, в золотые трубы трубят. Едет сам царь в колыхаге с царицею. Поравнялись они с царевной, колыхага остановилася. Вышел из нее царь, навстречу царевне идет, к ней дрожащие руки протягивает.

– Спасибо тебе, – говорит, – моя родная дочь, что ты не забыла долгу-совести, что ты свою старую, добрую мамку в смертной беде не оставила. А вот тебе, дорогая моя, и жених, коли тебе он люб и по сердцу: просит он руки твоей, тебя сватает. Коли любишь, скажи, а не любишь, откажи ему.

Оглянулася царевна, и теперь только заметила, что стоит в стороне королевич Алексей, стоит, глаза в землю опустил и ждет ответа, словно вести о жизни и смерти своей. Вспыхнула царевна, вся зарделася, ничего не сказала она, только протянула ручку свою к Алексею королевичу.

Схватил эту ручку Алексей, крепко поцеловал ее, себя от радости не помнючи, потом взглянул на царевну, и глаза их встретились, и показалось царевне, что в этих глазах тихим светом светится все, что есть на свете дорогого и радостного.

А царь их за руки берет, к колыхаге ведет; садятся они в колыхагу и едут в обратный путь. А народ гудит-ревет:

– Да здравствует, – кричит он, – наша добрая царевна на многие лета, да здравствует ее суженый, королевич Алексей!

Старый горшок

Вы наверное знаете, что на свете существует с незапамятных времен старый горшок. Его всегда вечером ставят на стол. Хорош он бывает в тихий ясный вечер, когда вокруг стола собираются все, старые и малые семьи, собираются отдохнуть от тяжелых дневных трудов, весело поболтать и посмеяться вволю, и при этом, может быть, никогда никто из них не подумал, что лучше этого горшка нет ничего в целом здешнем мире. Если в этом горшке нет той курицы, о которой когда-то мечтал один добрый французский король, то, наверное, в нем есть добрый кусок мяса, – того самого мяса, которое всю свою жизнь работало в каком-нибудь воле, а теперь снова пойдет работать в человеке.

Да, этот горшок – вещь великая!.. Но ведь он не падает с неба, а вырастает из земли.

И вот, ради этого горшка, старая бабушка Марта из всех сил хлопотала и стряпала. Дело шло о большом пире на всю деревню, и как же было не устроить этого пира, когда бабушка выдавала замуж свою единственную внучку, милую Розхен? А если бы вы знали, что эта была за чудная девушка – Розхен! О! Вы, наверное, помогли бы старой бабушке Марте.

Чудная Розхен была – сама прелесть. Вы только вообразите себе доброе личико, которого добрее нельзя придумать. И все это личико, свежее, розовое, со вздернутым носиком и пухлыми щечками, постоянно улыбалось, улыбалось как есть – все, начиная с милых голубых глазок и розовых, пухленьких губок до кругленького подбородка с хорошенькой ямкой.

И как же было не любить старой бабушке Марте такую чудную внучку, которую все любили во всей деревне, и даже не в одной, а в целом околотке? Зато и внучка любила свою бабушку, которая тоже была хотя и старая, но очень хорошая бабушка.

При том она была похожа, очень похожа на свою внучку, так что вся разница между ними была только такая, какая бывает обыкновенно между румяными яблоками: свежим и испеченным. И когда Розхен сидела подле своей бабушки, уже старой, но крепкой, здоровой и бодрой, то ее глазки всем как бы невольно говорили: смотрите, разве я буду дурная, когда буду старухой? У меня будут такие же голубые глаза, как у бабушки, такие же румяные щеки, и улыбающиеся губы, и ямка на подбородке. Я буду только седая и вся в морщинах, но зато я буду еще добрее, потому что каждая морщинка будет складкой, которую мне оставит на память доброе старое время.

Но, разумеется, никто не любил так крепко добрую, милую Розхен, как ее жених, славный мальчик, Жан. Ведь он любил ее не только потому, что она была хороша, мила и добра, но еще и потому, что он вырос с ней. А как является эта любовь? – об этом, пожалуйста, спросите у тех двойчаток, которые вырастают на орешнике, ранней весной, под теплым солнцем, и потом уже не могут отделиться друг от друга даже поздней осенью.

Говорили, что добрая бабушка приколдовала их друг к другу, и даже обстоятельно рассказывали, как и чем, – но мало ли что говорят люди!

Верно было только одно: бабушка смотрела на многое так, как могут смотреть только немногие. Она понимала, например, что вся сила в хорошем куске земли, а этот кусок земли был у Жана, а что всего лучше, он сам купил его на собственные, трудовые деньги.

Деньги эти были немалые, потому что все, имеющие землю, очень хорошо знают ее силу, и, чтобы добыть эти деньги, Жану было хлопот тоже немало... Но ведь у него были отличные, здоровые руки, а в голове, вместо знания, был толк да уменье, что порой бывает лучше всякого знания. Если прибавить ко всему этому доброе сердце и честное лицо, то можно, кажется, без особого труда понять, почему Розхен согласилась выйти за Жана и почему бабушка Марта была рада этой свадьбе.

И, наконец, свадьба Жана и Розхен была сыграна, а как это все произошло, пусть каждый представит себе, как может.

Когда, на другой день свадьбы, Розхен чуть ли не в третий раз подумала: «Ну! теперь Жан мой, и я счастлива», – и только что собралась, принарядившись, идти вместе с Жаном к бабушке Марте, как сама бабушка постучалась к ним в дверь.

Розхен хотела тотчас же броситься к ней на шею и сказать: «Я счастлива!» – но бабушка таким таинственным шепотом три раза проговорила: «Не подходи, не подходи, не подходи!» – что Розхен остановилась как вкопанная. А бабушка торжественной походкой направилась прямо к большому шкафу. Она несла обеими руками горшок, – простой старый глиняный горшок, покрытый полотенцем и завязанный черной лентой.

– Отвори! – сказала бабушка, подойдя к шкафу.

Розхен отворила его, и бабушка сама, приподнявшись на цыпочки, поставила горшок на верхнюю полку.

– Вот вам, – сказала она, поправив платок на седой голове. – Вот вам! Будьте счастливы!

– Что же это такое? – вскричала Розхен, – что это ты нам принесла?

– Это... это – ваше счастье. Верьте в него и не разбейте его. Оно очень непрочное, как и все в брэнном мире.

Жан посмотрел на бабушку как-то двусмысленно. А Розхен?.. Но она уже верила прежде, чем бабушка сказала верить! Она уже обнимала, и целовала, и благодарила свою милую бабушку. И если кому-нибудь покажется странна эта вера в счастье, которое лежит в глиняном горшке, то его можно спросить: а разве он никогда не верил в леших, домовых и просыпанную соль?.. Нет! Пусть каждый верит во что хочет, только бы не мешал никому жить на свете!..

Прошло шесть лет, целых шесть лет постоянного семейного счастья. И все это благодаря простому глиняному горшку. Вот так горшок! Золотая, завидная вещь!

Что же лежало в нем? Неужели он был пустой? Нет, лежало в нем очень много, много всего, что бывает везде в целом свете, но ведь он был завязан крепко-накрепко, и если Розхен не решилась его открыть, то, разумеется, узнать – что в нем лежало – можно было только по прихоти случая. Такова уж судьба многих великих открытий.

И случай явился, – как и всегда некстати и не вовремя, все равно что гость, который хуже татарина.

У Розхен был сын, единственный сын за все шесть лет замужества. Розхен любила своего единственного маленького Луллу, любила так, как она, понятно, не могла бы любить, если бы вместо одного Луллу у ней было их четверо или шестеро. Впрочем, едва ли в целом мире была хотя одна вещь, которую Розхен не любила бы хоть немножко или, по крайней мере, не относилась бы к ней с состраданием.

Она любила свой домик, и даже ревновала его ко всякой пылинке, которая садилась на него. Любила простые деревянные стулья, скамьи и столы, потому что они были просты, и не давала их в обиду ничему, что могло бы их запачкать. Любила каждую вещь, каждую плошку, которую убирала и переставляла чуть ли не по пяти раз на день, – любила свой маленький садик с тощими яблонями, гнездо аиста на соломенной крыше, – и все это любила потому, что сам этот домик и садик были гнездом, свитым любовью для тихого, простого семейного счастья.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.